

Коридор

Феликс Кандель

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ
КОРИДОР



Феликс Кандель

коридор

Роман

Иерусалим — 1981

© Феликс Кандель, 1981

Сокращенный вариант романа был опубликован в журнале
"Грани" №102 и №105.

Феликс Кандель

КОРИДОР

Эта книга была написана давно. Очень давно.
Будто сто лет назад...

Теперь мне кажется порой, что тогда жил не я.
Не я на фото, не я в записях, не я в мыслях и в
пространстве.

Где те вопросы, что когда-то волновали? На них
не стоит нынче искать ответа.

Где те проблемы, что с трудом разрешались?
Мне бы теперь те проблемы.

Все меняется. Все меняемся...

Она долго лежала у меня в столе, эта книга, безо
всякой надежды на публикацию, и мне было бояз-
но и горько всякий раз открывать папку с ру-
кописью. Потому что книга старела, дряхла, мед-
ленно умирала для меня, живущего уже в дру-
гом времени, в других интересах, в других оцен-
ках, — а может, это я старел, может, это я дряхлел,
а книга оставалась такой же: кто нас теперь рассу-
дит?

Книги должны выходить вовремя.

Она чужая теперь для меня, эта книга, да и я,
наверно, для нее чужой.

Но ведь жили же на самом деле эти люди, кото-
рых я знал, и совершали поступки, которые я ви-
дел, и думали думы свои, о которых я догадывал-
ся, — но вот они уже ушли из жизни, а я еще тут.
Им жить во мне, со мной: без меня и их не будет.

А с книгой — они останутся...

Памяти девятой квартиры

Памяти ее жильцов

Памяти родителей

Памяти самого себя, тогдашнего

эта книга.

„Людей, воображающих себя здоровыми, гораздо больше, чем таких, которые воображают себя больными”.

М. ПЛАТЕН

„Руководство для жизни согласно законам природы. Настольная книга для здоровых и больных” (1896 год).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Первым проснулся дядя Пуд. Он лежал в брезентовом плаще на клеенчатом диване в обнимку с ружьем (инвентарный номер С-327) и рыжими от старости сапогами упирался в плакат «Все в МОПР».

Уже который год ночует он не дома с законной женой, а в досчатой каморке внутри склада, прижимая к себе ружье, слушая ночные звуки и вздрагивая. Склад огромный, ящичков пропасть, — чего-то там сохнет, трещит, — а дядя Пуд из каморки ни ногой: запрется на засов и всю ночь на диване сидит, глаза на плакат лупит. И не скучно ему вовсе, а страшно. Когда страшно, скучать некогда. Вор-грабитель наскочит — конец дяде Пуду: ни подраться, ни убежать. Толстый дядя Пуд, один живот неподъемно весит. Да и на ружье надежда слабая: может, выстрелит, а может, и не выстрелит — это уж как оно захочет, да и не стрелял дядя Пуд никогда и знает это дело приблизительно. А патроны он даже не берет: еще взорвутся, неровен час, эти патроны. Потому

и сидит всю ночь в брезентовом плаще на клеенчатом диване, от шорохов вздрагивает и на плакат „Все в МОПР” Богу молится. Только под утро привалится на часок, щекой к холодному валику, — хрустит на нем брезент, обминаться не хочет, — да и то сон не в сон: налетит завскладом, ругаться, топтать ногами начнет. Молодой завскладом, пугливый, из простых грузчиков переведенный. По незнанию всего боится. Хуже нет, когда начальство боится не чего-то, а вообще. «Смотри! — грозит. — Пуще глаза ружье береги. Нынче, знаешь, что за ружье бывает?» И первым делом бирку навесил: С-327. Он бы и на патроны навесил, да не влезает патрон с биркой в канал ствола. Поэтому еще дядя Пуд на склад не выходит, а в каморке сидит и своим ружьем свое ружье сторожит. Чёрт с ним, со складом... На складе гвозди, скобы, петли дверные — товар-дефицит, ни за какие деньги не купишь, тут только поглядывай, потому как отощал народ на железо. Налетит вор-грабитель, заодно ружье отнимет: что делать будешь? Куда пойдешь? Старый дядя Пуд, седьмой десяток уходит: в одной охране и работать. Больше никуда не берут. Скоро завскладом придет, он ему ружье под расписку сдаст, горстку гвоздей из разбитого ящика зачерпнет и домой поедет. Отсыпаться.

Проснулась тетя Мотя, жена дяди Пуда. Комнатуха тесная, темная, окно в кирпичную стену утыкается: келья, да и только. Тихо, чисто, благолепно: лампы теплятся, лики сияют, конфетная фольга вокруг божницы блестит-переливается — всё монастырь напоминает и в умиление приводит. Еще бы дядю Пуда выселить, чтобы духа мужского не было, да уж никуда его теперь не денешь. Перед Богом и милицией законные супруги. Слезла тетя Мотя с лежанки, пошуршала, пошептала,

поелозила по полу, отбивая поклоны, с вечера замоченные корки покидала на карниз: голубь — птица Божья — склюет, не евши не пивши побежала в учреждение полы подметать, пыль обтирать, грязь выводить.

Проснулся дядя Паша, Нинкин отец. Ночь была душная, тяжкая, нескончаемая. Навалилась на него, прижала к стене тетя Шура, Нинкина мать, большая, голая, горячая, и — отлежал он руку у нее под боком, до судороги, до полного онемения. Еще во сне рассердился дядя Паша, проснулся, выдернул руку, пихнул сгоряча локтем, полез через тетю Шуру слезать с кровати, а она обхватила — не пускает. Трудно Нинкиному отцу с ней, да ведь он знал, кого в жёны брал. Она и в деревне голая на печи спала, — девки удивлялись, — и до первого льда в речку лазила, и после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. Сам видал, с ребятами караулил. Вот и теперь: светлынь в комнате, на работу пора, а она прижала — не пускает. Руки литые, плечи крутые: сердись не сердись, с такой нешто справишься? Спасибо, матрац скрипучий, на шум Нинка голову подняла: «Чего балуетесь?..» Тетя Шура вскочила проворно, спину выгнула, сарафаном обтянулась — на груди затрещало, босиком побежала на кухню еду готовить, а дядя Паша опять рассердился, — теперь уже на Нинку, — ноги с кровати свесил, подмышкой почесал, папироску запалил. У него табак горький, едкий, всякую пачку в сырости выдерживает, на заплаканном туалетном бачке, чтобы злее было, чтобы до самого нутра, до слезы «ершом» продирало. «Надымил табачищем-то», — сиплым со сна басом сказала Нинка и заснула, как провалилась. Они поели со сковородки картошки с огурцом, хлеба, сала деревенского, запили чаем вприкуску — из блюдец, захлёб, ушли на работу.

Нинка одна осталась. По дороге дядя Паша купил в киоске конверт без марки и послал письмо с доносом на Лопатина Николая Васильевича. Подписал: „Редавой труженик”.

Проснулся Лопатин Николай Васильевич, — диван короткий, ноги на валике, — на цыпочках прошел в ванную. Открыл окно, постоял-подышал в прохладе, поглядел на крыши домов, облился по пояс, нехотя вернулся в комнату. В комнате пыль, сор, хронический неуют: на стульях вещи накинаны, на столе — хлеб черствый, с вечера ненакрытый, посуда грязная, клеенка липкая, в крошках, с подтеками. Вытащил из-за окна кастрюлю с вареной картошкой, картошка раскисла, забыли воду слить; пересчитал сморщенные сосиски: три взял — две оставил, пошел на кухню разжигать примус. Примус чумазый, засоренный, иголки обломанные, денатурат кончился: перемазался, пока зажег. Обжарил картошку, сварил сосиски, вскипятил чай, заварил круто для себя — горечь полынная, разбудил дочку Лялю. Ляля потянулась сладко, до хруста в коленках, зевнула в полный голос, надела халат, скособочила не на ту пуговицу, мазнула мокрыми ладонями по мятым щекам, пожевала сосиски с черствым хлебом, обратно в кровать легла, в скрученные простыни. Лопатин Николай Васильевич попил чаю с картошкой, свалил грязную посуду в кучу, опять разбудил Лялю. Они оделись, вышли на улицу. Она в школу — учиться, он в банк — деньги считать. Проводил ее до угла, вышел на бульвар, сел на минутку, глаза закрыл: чисто, свежо по-утреннему, не то что днем — шум, гам, пекло асфальтовое. Жена Лопатина с постели поднялась, дверь за ними затворила, обратно легла. Свернулась калачиком, ладони коленками сжала, вздохнула от удовольствия. Дремать бы так и дремать — хоть на всю жизнь.

Проснулись Ямалутдиновы, Ренат и Самарья. Они ночью во сне любили друг друга и, проснувшись, в полусне, тоже любили друг друга — это было продолжением сна; и сейчас Самарья застенчиво подняла и опустила ресницы, и спрятала лицо в подушку, потому что на раскладушке спал земляк из-под Бугульмы. Никогда бы она не допустила такого при постороннем, но сон есть сон, и во сне не поймешь, снится ли это или происходит на самом деле. А земляк храпит — пушкой не прошибешь, умаялся земляк, набегавшись по московским улицам, и осмелела Самарья, отняла лицо от подушки, пощекотала ресницами ренатовскую руку. Громко засмеялся Ренат, — в горле забулькало, — смехом разбудил земляка. Они попили чаю с халвой, с лепешками, взялись за руки, пошли на фабрику, а земляк по делам побежал. То ли в магазины, то ли в мечеть, то ли еще куда.

Проснулись Экштаты. Сначала Софья Ароновна, за ней — Манечка, и последним — Семен Михайлович, когда завтрак уже стоял на столе. Семен Михайлович балованный, ухоженный, он в домашние дела не влезает, только деньги до копейки отдает. Софья Ароновна и приготовит, и разогреет, и подаст, дочке Манечке косу заплетет, в школу выпроводит, а сама — и в магазин, и на рынок, и на работу в поликлинику: Софья Ароновна тут, Софья Ароновна там, «нет времени развести руками!»; а Семен Михайлович без торопливости встанет, без суматохи оденется, со вкусом позавтракает, взобьет шевелюру перед зеркалом, прижжет прыщичек, руки за спину и — на работу. Он рядом работает, в аптеке. Зачем далеко ездить, когда можно близко ходить. Пузырьки, склянки, латынь серебром по темному стеклу, а он сидит посреди аптечной строгости, в шапочке, в халате невозможной белизны, и рецепты иронически раз-

глядывает. Любит в них ошибки находить. Когда Семен Михайлович из дома выходит, встает бабушка Циля Абрамовна. Весь день у окна сидит, молитвенник листает, не плача плачет.

Проснулись Кукины, муж и жена. Вообще-то проснулся он один, а она ночью не спит, она воров боится. Воры могут дверь взломать, могут с крыши по веревке спуститься и в окно залезть, могут за шторами стоять, под кроватью лежать, в шкафу сидеть. Она уже привыкла не спать, ей и не хочется: лежит всю ночь с открытыми глазами, дом стережет, звуки определяет — какой откуда. Сам Кукин спит спокойно: в случае чего — жена разбудит; утром встает, бреется «Жиллетом», идет умываться. Вышел в коридор — дверь на ключ. Пришел, постучал — снова на ключ. Она и готовит в комнате: чай, два яйца, гренки с джемом. Поели, дверь на всякие замки заперли, — она сама запирает, ему не доверяет, — и на службу. Он работает во Внешторге, она во Внешторге. За границу ездят, вещи привозят.

Проснулся Хоботков Сергей Сергеевич. Потянулся, захохотал — настроение веселое. Всегда по утрам веселится: редкое для людей свойство. Сергей Сергеевич — на раскладушке, Вера Гавриловна — на диванчике, няня — на полу, Лёка с Костиком — в кроватках. Вся комната — одна большая постель. Няня встала, матрац закатала и — в магазин: к «Трем пороссятам», к «Туркам», в консервный: там занять очередь, тут занять. Рано не пойдешь — ничего не достанешь. Сергей Сергеевич сгрел Лёку в охапку, за спину закинул и — в ванную, а Вера Гавриловна завтрак приготовила, Лёку в школу, мужа на работу выпроводила, спящего Костика поцеловала и тоже бежать. У нее, у Веры Гавриловны, начальник строгий. Если кто опаздывает, он на его место садится. Пришел — он сидит.

Как прогонишь? Надо просить: «Разрешите, я сяду». — «Ах, — говорит, — простите! Ах, извините! Рассеянность моя проклятая...» Зато у него никто не опаздывает, все до звонка по местам сидят. Сергей Сергеевич со своим подчиненным попробовал: тот пришел, стул из-под него выдернул и даже извиняться не стал. Когда дома рассказывал, все по полу катались, а он — пуще всех.

Ушли на работу — тихо стало. Тихо стало — Костик проснулся.

2

Его, как обычно, будит тишина. Он всегда просыпается в это время, когда родители убегают на работу, Лёка в школу, а няня по магазинам, и в комнате становится непривычно тихо, и в коммунальной квартире тоже. Он просыпается сразу, без потягиваний и полусонного бормотания, и тут же, не раскрывая глаз, уползает с головой под одеяло, и ползает там очень долго в душной, таинственной темноте, чтобы запутать всех на свете, чтобы никто не догадался, откуда он, наконец, вылезет.

Потом он потихоньку высовывает наружу руку, шарит вслепую по стулу в поисках одежды, а на стуле ничего нет. Рубашка, штанишки, носочки, туфли — лежит на полу аккуратный человечек из одежды, рукава в стороны раскинул, будто над хозяином хохочет-потешается. Такое у них в семье правило: когда вещь не на своем месте, швыряй ее на пол. Вчера вечером Костик заигрался перед сном, забыл сложить одежду; все видели, но никто не напомнил, — кто же будет напоминать, когда за чужими вещами идет охота? Костик обиженно хмыкает и бежит кругами по комнате, выискивая непорядок, и наконец находит пепельницу: на стуле, в неподобающем месте. Он мститель-

но хохочет и тут же ставит ее на пол, а подумав, загоняет под шкаф, чтобы труднее было доставать. Это отец придумал такое правило, и он разложил человечка из одежды, и он же нарочно оставил пепельницу на стуле, чтобы Костик тоже мог поторжествовать, потешить свое самолюбие. Отец у Костика выдумщик, веселый человек, инженер, у него даже подчиненный есть. „Люди! — говорит Софья Ароновна. — Посмотрите на этого инженера, люди! У нас на весь Бобруйск один инженер был, так он свой дом имел. Три этажа с подвалом”. А отец Костика хохочет, — тощий, нескладный, морщинистый от смеха, — отец поднимает Софью Ароновну и несет ее в комнату, к Семену Михайловичу. Семену Михайловичу это неприятно. Семен Михайлович не любит, когда его жену на руках носят. Он и сам не носил и другим не позволяет. А отец плевал на эти китайские церемонии, отец подмигивает Семену Михайловичу и большой палец показывает: мол, соблазнительная женщина Софья Ароновна, еще хоть куда! И обидеться на него невозможно и рассердиться нельзя. Где другой смешного не увидит, он захохочет. Где другой улыбнется, он от смеха переломится. С работы придет, ребят в охапку и — кувыркаться. На диване борются, на полу, под столом: писк, визг, хохот, всю мебель расшвыряют, хоть святых выноси, а потом ложатся посреди комнаты на спины, на потолок смотрят, песни поют. Костик все к отцу пристаёт: „Тебе сколько лет?” „Двадцать шесть”. „Нет, тебе сорок пять”. „В сорок пять я не смог бы с тобой кувыркаться. Так что выбирай: двадцать шесть и кувыркаться или сорок пять и не кувыркаться”. Костику задача: ему и повозиться охота, и правда дорога. „Мне двадцать шесть, — повторяет отец. — Мне еще долго будет двадцать шесть. А потом сразу

сто". Брат Лека весь в отца — быстрый, решительный, а Костик тихий, задумчивый — в маму. Это она захотела второго ребенка, чтобы не остался Лёка один, когда их не будет на свете, чтобы было на кого опереться детям — другу на друга, брату на брата. В каждом доме есть один человек, который определяет всю семью. У них — она. Тихая, нежная, деликатная: ни с кем не повздорит, грубого слова не скажет. Все в квартире давно переругались, — шутка ли, сбили в тесную кучу столько народу, тут уж не до целованья, — а с ней дружит каждый. Посредник, миротворец, добрая душа. Кому поможет, кому подскажет, кому ласковым словом посветит. И на службе ее хвалят: золото — не работник. «Надо позвонить». — «Позвоню». «Надо напечатать». — «Напечатаю». «Надо сбежать». — «Сбегаю». Никогда не жалуется, никогда не устает, никогда ничего у нее не болит. А если заболит, всё равно не скажет. Вроде красивый Сергей Сергеевич, веселый, обходительный, по бульвару ходит — женщин оглядывает, а уехал в командировку (сам себе хозяин, бабья кругом — навалом) — извелся, истомился в одиночестве, истосковался по родной душе. Вернулся домой, вздохнул облегченно и сразу на бульвар — женщин оглядывать.

Костик поднимает с пола штанишки, рубашку, носки, одевается кое-как, бежит в коридор. В коридоре мрак, темнота, экономия электричества. Темными массами громоздятся соседские шкафы, которым нет места в комнатах, а на них — санки, лыжи, детские велосипеды до потолка. Выключатели высоко — не дотянуться, а если бы и дотянулся, при свете коридор еще мрачнее. Сто лет ремонта не было, управдом товарищ Красилов только обещает, а самим жильцам не поднять такую махину. Коридор длинный, прихожая громадная,

потолки высоченные — четыре метра, а на них чернота, разводы, полосы зигзагами: этаж последний, крыша протекает. Ее каждое лето ремонтируют, крышу, а она все одно протекает. Еще хорошо, жильцы аккуратные попались: каждый день пол подметают, раз в неделю кухню моют, раз в месяц коридор натирают, а пыль-паутину обметают под праздники. А не то от грязи задохнешься: сколько народу в квартире толчется! Восемь комнат — семь семей. Шестнадцать взрослых — пять детей. Да еще гости приходят.

Выходит в коридор Нинка. Нинка босиком, пятки твердые, красные от половой мастики. Отец Нинку как воспитывает? Отец Нинку так воспитывает: возьмет кусок хлеба, шварк его об пол, а потом Нинке в рот: «Наворачивай!» Нинка наворачивает, интеллигентные соседи за сердце хватаются: ждут у Нинки колик, судорог, брюшного тифа, а отец ее гордо улыбается. «Небось, — говорит отец, — у нас не протекёт...» Он кровельщик. Он это дело лучше знает. А Нинка съедает кусок и еще просит, Нинка идет в коридорный угол ковырять штукатурку. Она ее ест. У нее в организме штукатурки не хватает. Костик тоже ест. У него, правда, всего хватает, но не отставать же от Нинки.

Нинка дверь распахивает и коридор освещает. Не потому, что темноты боится, — «Чего бояться? Не к акуле в рот едем», — а просто на свету драться способнее. Костик тоже ничего не боится. У него для этого дела брат Лёка есть.

— А мне скоро платье пошьют, — гнусавит Нинка и пяткой пятку чешет. — От за мной убегайтесь...

— Я не буду, — мотает головой Костик.

— Будешь... Мамка сказала, все убегаются.

Мамка у Нинки портниха. Мамка приносит с

фабрики всякие лоскутки и шьет Нинке платья. Нинка ходит яркая, пестрая, разноцветная, как лоскутное одеяло: тут в горошек, там в цветочек, здесь в полосочку. Очень удобные платья, рви в свое удовольствие. На таком платье и пятно не пятно, и заплата не заплата.

— Если я за тобой не бегаю, — удивляется Костик, — чего это я стану бегать за твоим платьем?

Нинка шлепает по дубовому паркету голыми пятками, упирается пузом в пузо, молча хватается Костика за волосы. У нее никогда не поймешь, что к чему. Держит за волосы и ждет: то ли драться, то ли бежать, то ли еще как.

Костику драться неохота. Драться — это хлопотно: махать руками, плевать, потом реветь. Уж лучше пострелять из пулемета, или водой побрызгаться, или к дяде Пуду пойти супу поесть.

— Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, — начинает Костик обстоятельно, не торопясь, а Нинка за волосы держит, не отпускает, сопит сырým носом. — Снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет... — Тут Костик останавливается, вздыхает в изумлении: — А чего плакать-то? Сами не разбили, а мышка помогла. Надо радоваться, надо ей спасибо сказать...

Нинка хмурится, морщит остренький нос, сдвигает белесые брови, пыхтит, будто надувается, еще раз пяткой пятку чешет.

— У, зараза! — сурово басит Нинка и что есть силы пихает Костика пузом. Костик тяжело вздыхает, вовремя вспоминает Лёкины советы и нехотя наступает каблуком на голые Нинкины пальцы. Нинка верещит не хуже кошки Машки, когда ей

прищемляют хвост, и, грозя кулаком, размазывая хлынувшие сопли, ковьялет к себе в комнату. Должно быть, за валенками.

В коридоре опять темно стало. Костик лезет с ногами на ямалутдиновскую корзину, ложится на живот, стреляет по Нинкиной двери из пулемета. На корзине лежать неудобно, лучше ходить по ней: крышка у корзины прогибается, хрустит, как сухарики, а Ямалутдиновы за это не ругают. Они веселые, Ямалутдиновы. Они песни поют. «Дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону...» Ренат поет, Самарья шепотком подпевает. „Люди! — говорит Софья Ароновна. — Перестаньте петь, люди! Уже начните детей рожать”. А они не рожают. Им не до этого. У них гости каждый день. Кто из деревни в Москву едет, тот у них останавливается. Кто из города едет — тоже у них. Вся Татария знает их адрес. Вся Татария у них. Гостиниц мало, в гостиницу не пробыешься, и потом как это я поеду в гостиницу, когда в городе Москве живет мой родственник, мой друг, мой земляк, знакомый моих знакомых, такой же татарин, как я, Ренат Ямалутдинов. Нельзя обижать человека. Он ко мне придет — он у меня остановится. Поэтому у Рената раскладушка в углу стоит. Специально для гостей. Временами на ней по два земляка лежат. Какие уж тут дети! Их не то что растить — им и появиться-то невозможно. Кругом гости. „Дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону...” А Лопатин Николай Васильевич, ответственный по квартире, никак на это не реагирует, хоть и обязан сообщать куда следует о посторонних людях. Обязан — а не сообщает. Потому и пишет на него дядя Паша, Нинкин отец, обстоятельные доносы: про ямалутдиновских земляков и еще про разное. Хочет быть ответственным по квартире дядя Паша, тщеславный мужичишка. Давно бы уж

пришли из милиции и проверили, да пишет Нинкин отец неграмотно и путано, а увлекшись, добавляет невероятные для человеческого понимания подробности про ответственного из соседней квартиры, который чего только не делает: и стенгазету, и ящик для заметок, и листки-молнии „Позор товарищу, своевременно не уплатившему квартплату”, и собрания ежемесячно. Не врет дядя Паша, — есть на самом деле такой ответственный, — да не может милиция уразуметь подобного, выше это ее понимания: если бы хоть выслуживался, а то куда ответственному дальше идти? В управдомы, что ли? И потому отправляет милиция эти доносы в архив, — не простая бумажка — письма трудящихся, — где их и подшивают к делу. А дяде Паше обидно, неутомимо ищет дядя Паша, как бы ему возвыситься над Лопатинской семьей. Они бедно живут, Лопатины. У них денег никогда нету. Откуда? Он в банке служит, у него только на работе денег полно. Запавшие глаза, втянутые щеки, прямые светлые волосы на стороны, — честности профессиональной, иссушающей: аскет, фанатик, Джордано Бруно, Каракозов. „Ответственный по квартире, — в кулак хрюкает дядя Паша, — а жрет черт-те что...” А сам картошки с салом навернет, киселя нахлебается, ремень на пузе распустит и по квартире гуляет, на Лопатина снизу вверх свысока смотрит. Ему, главное, унизить Лопатина, ущемить похитрее. Они последними въехали, Нинкины родители, к ним по всем правилам семь звонков полагалось звонить, но к Лопатиным был один звонок, и дядя Паша тоже захотел один. К Лопатиным — один короткий, к ним — один длинный. Дядя Паша — человек гордый. Он на Историческом музее крышу клал. А Исторический музей, знаешь, где стоит? Как напьется, прямо туда идет и вахтера успокаивает.

вает. «Небось, — говорит, — у нас не протекёт...»

«Раз! — слышит Костик. — Два! Раз! Два! Раз! Два!» Дядя Пуд командует. Вся квартира на работе, а дядя Пуд с тетей Мотей из одной миски деревянными обкусанными ложками суп хлебают. Они его утром хлебают, потому что с работы оба. «Раз!» — ложку дяде Пуду. «Два!» — ложку тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. Она монахиня бывшая. Он ее из монастыря украл. За красоту несравненную. Ей тридцать было, ему — сорок. Лукавый попутал. Подлетел дядя Пуд на дутиках, лихач-лихачом, барыню в монастырь привез, а тетя Мотя в одном платке выбежала, деньги от барыни вынесла. Глянули, словечком перекинулись — подхватил он ее и увез. Он и некрасив был — ноги короткие, туловище длинное, да не разглядела она — времени не было, и сидел он — ног не видно. Зато кудри до плеч. Борода — во! Лошади — огонь: свои лошади, не от хозяина. «Поехали, красавица!» — «Ай бросишь...» — «Эдакуюто?» — «Побожись!» Он на купола перекрестился, она руки протянула. Только колокола вслед зазвенели, только бубенцы звоном захлебнулись. До сих пор тетя Мотя прощение у Бога вымаливает — вымолить не может.

«Раз!» — ложку дяде Пуду. «Два!» — ложку тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. На дворе жара, а он в черном пиджаке, а под пиджаком, вместо рубахи, суконная гимнастерка с белой кальсонной пуговицей. Он в охране работает, дядя Пуд. Старый стал — никуда больше не берут. Ночью склады сторожит, днем отсыпается. Пенсия — только на хлеб. Как жить? Работай до смерти. У него живот толстый, руки короткие: если прямо к столу сесть, до тарелки не дотянешься. Он боком сидит. «Два!» — тете Моте. Она женщина добрая, набожная. Убор-

щица. На работе уборщица и в квартире уборщица. Чья очередь, она за того места общего пользования убирает. «Кукины — с 4-го по 7-ое. Лопатины — с 8-го по 13-ое. Экштаты — с 14-го по 21-ое...» Кто не хочет платить, тот сам унитаза моет. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. Молча, бездумно. Чего говорить? Давно переговорено. Суп наваристый, из костей. К закрытию рынка придешь, почти задаром отдают. На что они, кости? Не везти обратно. А из костей и бульон, и студень, и кошке Машке погрызть. Кошка Машка — их кошка.

— Здравствуйте, — торопится Костик и лезет в ящик за ложкой, пока суп не выхлебали.

— Здравствуй, здравствуй, сокол ясный, — вздыхает тетя Мотя, добро и бессмысленно глядя на Костика. — На дворе солнца какая — прямо ужась...

А дядя Пуд молчит, только ложкой усердно махает: лысое темя росой покрылось. За столом болтать — продукт переводить. Скажешь — со счета собьешься. «Раз!» — ложку дяде Пуду. «Два!» — ложку Костику. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. Ему супа не жалко. Пускай мальчонка хлебает. Не его порцию. А тетя Мотя кого хошь пои-корми — ее дело. Костика, собаку, тигру прожорливую... «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тигре прожорливой. Он добрый, дядя Пуд. Не хуже тети Моти. Проси — отдаст. Скажи — сделает. Он на еду жадный. Денег мало — еды мало, еды мало — сил не будет. А он мужчина, ему больше требуется. Ноги под табуретку поджаты — ванька-встанька: внизу толсто, кверху сужается, и голова детского размера, на конус. В парке культуры есть зеркало в комнате смеха. Там все такие. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте.

— Костик! — слышно из коридора.

Няня с улицы пришла. С утра — все на работу, а няня — по магазинам. Магазин — та же работа, только тяжелее, потому что там не тебе, а ты деньги платишь. Да прежде чем заплатишь, в очереди настоишься. Да прежде чем настоишься, побегаешь, поищешь, где же она, родимая, тесная, двужильная: в одном конце номерá на ладонях пишут, в другом — друг за дружку держатся, чтобы посторонний не влез. Льет дождь, печет солнце, трещит мороз — сорок градусов, но очередь знает свое дело. Всё движется вперед, а она стоит на месте.

— Костик, ты где?

Костик затаился — не отвечает, только ложкой быстрее машет: дядя Пуд со счета сбился. Войдет няня — супу не поешь.

— Костик! — надрывается няня. — Анчутка окаянная!..

Костик облизывает ложку, сползает с табурета, нехотя идет к двери. В коридоре няня с Софьей Ароновной новостями делятся: кто чего достал. Софья Ароновна — с рынка, у нее в кошелке свиные ножки. Сегодня суббота, придут гости. Полдня — на керосинке, потом охладить в ванной — вот и студень. И фаршированная рыба. И кнейдлах из мацы с гусиными шкварками — маца от Пасхи осталась. И пирог «Чудо», с изюмом и корицей. Испечет пирог, три кусочка отрежет: Нинке, да Лёке с Костиком. Так уж у них заведено. А те пекут — Манечку угощают.

— Ароновна... — томится завистью няня. — Почему такие?

Ароновна млеет, Ароновна — виртуоз в кухонном деле. Ей бы еще изобилие для полноты чувств. Приготовить легко — достать трудно. Ножики — редкость. Свинина продается, а ножек нет. Будто в колхозах выкармливают безногих свиней. А по специальности Ароновна — зубной врач. Вся квартира у нее лечится. И от кашля, и от радикулита, и по женской линии. А в поликлинике к ней очередь, не пробиться к ней в поликлинике. Любимый зубной врач — это кое-что да значит. Она их заговаривает. У них рты раскрыты, они молчат и слушают, и возразить не могут. Она одна говорит. Пациенты уши развесят, а она и сверлит, и пломбирует, и рвет — им всё равно. Может, потому и в зубные врачи пошла, что здесь не перебьют. Дома, правда, тоже с ней не поспоришь. Два слова вставил — скажи спасибо. Семен Михайлович уже который год не говорит — только слушает, уже и привык: слушает и не слышит. Что дома, что в аптеке: холодный, невозмутимый, пренебрежительно-внимательный. У него дед сам когда-то порошки толоч, сам и лечил. И отец. И он кое-что может. Да теперь это не нужно: теперь и врачей полно, и лекарства другие. Вот и сидит Семен Михайлович в аптеке на Никитской, рецепты презрительно разглядывает, ошибки ищет. Найдет, аккуратно подправит, удовольствие получит. Жильцы по квартире бегают мятые, патлатые, чуть не в одном белье, — по отношению к соседям все бесполое, — а Семен Михайлович прежде оденется, причешется, в зеркало себя оглядит, а уж потом из комнаты выходит. Нинкин отец его за это видеть не может — его с детства мытые да чёсаные раздражают; и хотя вся квартира кличет Семена Михайловича Семеном Михайловичем, он принципиально зовет его так, как записано в паспорте — Шлёма Мордух-Залман. И он по-своему прав.

— Люди! — вскрикивает Софья Ароновна. —
Время — десятый час, а ребенок не кормлен...

Няня спохватывается, тащит Костика в комнату, а Софья Ароновна бежит кормить Нинку. Нинка не ее, — ее Манечка, — но когда Нинкина мать идет в первую смену, она и Нинку кормит. «Сваришь на четверых, всегда останется и на пятого». Они из деревни когда приехали, Нинкина мать месяц из комнаты не выходила. Отец на работу — дверь на замок. Говорят: евреи по квартире ходят. Что за евреи? Какие такие евреи? Слыхом не слыхивали в их краях. Да что говорить: дочка Манечка до восьми лет не знала, кто она. Где живет? В России. На каком языке говорит? На русском. Пришла раз с бульвара и объявила за ужином: «Ха... А рыжий Вовка — еврей. Вот смехота...» За столом пауза, как подавились. «И я еврей», — сказал Семен Михайлович. «И я», — сказала Софья Ароновна. «И я», — бабушка Циля Абрамовна. «А я?» — забеспокоилась Манечка. «И ты». — «Надо же... А я думала, я советская». Бабушка Циля Абрамовна неделю потом плакала; а наплакавшись, стала просвещать внучку: про Моисея, про Давида, про царя Соломона... В школе говорят одно, бабушка другое: у Манечки в голове ералаш. На первомайском сборе ребяташки пели, танцевали, читали кто что хотел, а первоклассница Манечка вышла в круг и рассказала про шесть дней творения, объяснила непосвященным, как оно было на самом деле. Школа показательная, в ней дети известных людей учатся: директор родителей вызывал, на работу грозил сообщить. Чуть не выгнали Манечку за религиозную пропаганду. Теперь она выросла, выяснила, кто сотворил этот мир, поняла, что к чему. Не одурманить ее теперь бабушке Циле Абрамовне.

Костик за столом сидит, булку ковыряет, по-

сле соседского супа есть не хочет. Няня ему яйцо, хлеб с маслом, чай сладкий, а себе — черный хлеб в миску, туда же лук, соль, масло постное, воду из-под крана. Мурцовка называется. Не от бедности, не от жадности хозяйской, а надоела эта еда городская, хлеб белый, какава всякая... Деревянной ложкой похлебаешь, деревню вспомнишь: Алексея, Лену, Николку, сестру Маню, детишек ее, проулок, свой дом заколоченный, скотину, собаку, кошку последнюю; петуха, что на свадьбу резали, и то вспомнишь. А что Костик с другого края пристроился, мурцовку подъедает, — какое уж там яйцо, хлеб с маслом, — она и не чувствует: осенью поехать — ситцу, баранок, пшена купить; Лене — косынку, Николке — рубаху, сестре Мане с детишками — по яблочку, пастилы какой, к Алексею на могилку сходить — поплакать, подружек навесить — поплакать, кузнеца, пьяницу старого, повидать ненароком — тоже поплакать; любил ее кузнец, до петухов под окнами орал, проходу не было, — прости, Господи, Царица Небесная, грехи наши тяжкие; Лене замуж пора, да и Николка вымахал, с воротá ростом; время-то как бежит: двенадцатый год в городе, деточек малых бросила, в голоде-холоде, на одной мякине: Лене — восемь, Николке — три, спасибо сестре Мане, у самой двое, а не оставила сирот; пока большие стали — сердце изболелось, всякую копейку туда, в деревню, хорошо — хозяева добрые попали, гостинцы дарят: прошлый год Сергей Сергеич костюм подарил, добрый еще костюм, лицованный, Николке на свадьбу; с хозяевами ест, с хозяевами пьет, да уж надоела эта еда городская, хлеб белый, какава всякая...

— Костик! — вскрикивает няня. — Анчутка окаянная!.. Ты куда?

А Костик уже в коридоре. Костик к Софье Ароновне бежит. Софья Ароновна за столом сидит

и Нинку манной кашей с серебряной ложечки кормит. Нинка рот не открывает, Нинка случаем пользуется и головой вертит. Увидал бы отец — Нинке по шее, кашу в сторону, кусок хлеба шварк об пол: «Наворачивай!» Отец на работе, мать на работе, вот она и кобенится.

— Ниночка, — просит Софья Ароновна. — Открой ротик, золотце ты мое!

Бабушка Циля Абрамовна к окну отвернулась. Бабушка молитвенник читает. Сегодня суббота, сегодня бабушка ничего не делает. Ей Бог не велит. Бог строгий, и бабушка строгая. Ест только кошерное. Даже в гражданскую войну, даже при военном коммунизме, в самый лютей голод — только кошерное. А кошерное — это отдельная посуда, мясное с молочным не смешивать, мясо-курица специальные, резником умерщвленные по строгим еврейским законам, сало нельзя, свинину нельзя, рыбу без чешуи нельзя, другую рыбу — только живую, мясо парное, не мороженое, хлеб без маргарина... Как она не умерла в то время, да и теперь чем живет, одному Богу известно да Софье Ароновне. Софья Ароновна в Малаховку ездит, — там резник, у него и мясо, и курица, — и готовит отдельно, по-честному: Циля Абрамовна ей верит и не проверяет даже. Она еще старушка крепкая, без дела не сидит: комнату убрать, посуду помыть, внучку Манечку через дорогу в музыкальную школу отвести. Но только не в субботу. Суббота — святой день. У них в Бобруйске по субботам городской приходил: огонь зажечь, дров занести, еще чего по хозяйству сделать. Две копейки ему давали. Всеи улице дрова заносил и огонь зажигал по субботам. Хороший городской был, Иван Шмаков. Его в погромы рвань кабацкая ножом пырнула.

— Ниночка, — умоляет Софья Ароновна. —

Открой ротик, хвороба на мою голову!..

У Софьи Ароновны комната широкая, светлая, огромное окно на бульвар смотрит. Не окно — несчастье в былые времена: попробуй протопи комнату, а теперь все соседи завидуют. Днем шумно, гремит трамвай — «А», первый номер, — а к ночи город стихает, и шепот влюбленных слышен на последнем этаже. Они думают, что они одни на скамейках в тени деревьев, а весь дом, все, кто не спит, знают, о чем они говорят и что делают. Семен Михайлович встанет у окна, помолчит, послушает шёпот, тихий смех, любовные шорохи, а потом — вдруг — запоет: «За горами, за долами голуби летели, голуби летели. Еще радость не пришла, годы улетели. Еще радость не пришла, годы улетели...» Голос высокий, с переливами, как у кантора, мелодии печальные, тоскливые — он других не знает. И под окном на скамейках затихают, прислушиваются к незнакомым словам, к чужой мелодии, откуда-то сверху, с ночного неба. «Если ты, Шлёма Мордух-Залман, не прекратишь, — пригрозил ему дядя Паша, Нинкин отец, — я заявлю куда следует». А другие жильцы молчат, не жалуются. Может, сон у них крепкий, а может, пение нравится. Да и поет он у окна редко, только в жаркие летние ночи, когда душно в комнате, когда тоской теснит грудь и тянет на прохладные, продуваемые ветром улицы, тянет бродить по бульварам с гибкой, черноволосой девушкой. Поет Семен Михайлович, — не Семен Михайлович, а Шлёма Мордух-Залман, еврей-пастух, еврей-кочевник, у костра, один на один со звездами, — волосы от подушки дыбом, темный силуэт в окне качается, а у Софьи Ароновны глаза подозрительно блестят в темноте, и бабушка Циля Абрамовна тихо, по-стариковски, плачет в подушку. Евреи любят плакать. У них это хорошо получается.

— Ниночка, — грозит Софья Ароновна. — Открой ротик, а то папе скажу!..

— Я те скажу... — бурчит Нинка, но рот открывает. Отца она боится. Отец ее порет.

— Тетя Соня, — говорит Костик. — Дед бил — не разбил. Баба была — не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула...

Нинка пыхтит, давится кашей, решительно лезет со стула. Не иначе, вспомнила про отдавленную ногу.

— Дед плачет, баба плачет... — торопится Костик. — А чего плакать? Она им помочь хотела...

— Они разве плачут? — криком удивляется Софья Ароновна. — Они от радости плачут. Самые слезы — от радости.

— Правда? — не верит Костик.

Бабушка Циля Абрамовна голову от молитвенника поднимает.

— Кто знает... — говорит бабушка, а слезы сами собой бегут по частым морщинам. — Кто знает... — и переглядывается с дочкой. — Этот ребенок будет академиком. У него в голове что-то особенное.

Костик вспыхивает — и за дверь. На кухню.

4

На кухне няня обед готовит: керосинки и примусы на плите выстроились. Плита огромная, в треть кухни, с революции нетопленная. На нее дров не напасешься. Раньше в доме богатые люди жили, у них с дровами хорошо было. Швейцар в ливрее, ковер с желтыми прутьями, лифт с зеркалами и плюшевым диванчиком, скамеечки на этажах для отдыха: знал хозяин, за что деньги брал. Два дома имел на бульваре: один жильцам ставал, другой — «Обществу по распространению практиче-

ских знаний среди образованных женщин». Он и сам, хозяин, в этом доме жил, — подъезд со двора, — и теперь там живет: комната для прислуги, соседей невпроворот. А квартиру Костика раньше француженка занимала. Две квартиры на площадке ее были: дверь в стене пробивали. Теперь дверь заделали, в двух квартирах полсотни народу умялось. Где кухарка жила — дядя Пуд с тетей Мотей, где кладовка была — Нинка с родителями. Они позже всех приехали, Нинкины родители, им другого помещения не досталось.

Костику скучно на кухне. На кухне что есть? На кухне ничего нет. Сколько семей, столько столов, и каждый на своего хозяина похож. У Ямалутдиновых стол — не стол, тумбочка крашенная, как в общежитии. У них и в комнате-то: стол, кровать да раскладушка. Вместо шкафа — гвоздь в стене, вместо буфета — подоконник. Они в столовой едят, Ямалутдиновы, а утром-вечером чай пьют, гостинцы из Татарии пробуют: какой гость без гостинца приедет? Только по воскресеньям Самарья кухарничает, кастрюльку у соседей берет, а Ренат рядом стоит, до жены дотрагивается. Сколько лет женаты, а она на кухню — и он на кухню. Подойдет и дотронется. На плечо руку положит, на талию, на бедро. Он светится, и она светится. Соседям на удивление.

Рядом с ямалутдиновской тумбочкой — стол дяди Пуда. Доски неструганные, дверцы фанерные, на кованых петлях, „Не кантовать” написано: дядя Пуд сам его сбил, из добытого на складе материала. Умелец дядя Пуд, золотые руки. У них в комнате гардероб самодельный, дюймовыми гвоздями сколоченный, табуретки занозистые, стол косолапый, скрипучий, полочки на стенах скособочились: все оң, все сам сотворил, потому как к ремеслам склонность имеет и полную

слепоту к красоте вещественной. Хотел еще икону расписать, гордыню свою потешить, да тетя Мотя вскинулась, надругательства не потерпела. Богомольная тетя Мотя, кликуша. Ей сны с ангелами снятся, ее весь приход уважает. А в остальном дядя Пуд удержу не знает. Придет с поста, супу похлебают, выпится и творит по образу своему и подобию. У него в комнате полно мебели. Завал. А он еще производит. Он производит, а тетя Мотя салфеточки набрасывает, уют создает. Из материи салфеточки, из цветной бумаги, из соседской газеты. У нее везде салфеточки, даже на табуретках, а на выключателе бантик. За окном вата проложена, на вате бумажные цветы раскиданы и кукла-голышок с трещиной. К весне вата серая, старая, и голышок тоже старьей. Дядя Пуд и суп сам варит, тете Моте не доверяет. Выйдет на кухню, «здрасьте» не скажет, — лишнее это дело каждый день «здрасьте», — к плите боком встанет и кости в кастрюле мешает. Такой суп получается — никто есть не может. Только он, да она, да Костик. Не суп — клей столярный. Они его весь день едят. На первое — суп, на второе — чай.

У окна — стол Лопатина Николая Васильевича, ответственного по квартире. На столе посуда грязная, кастрюли чумазые, сковородки сальные: Лопатин Николай Васильевич с работы придет, помоем. У него жена встает поздно и — в ванную, на целый час. Холодный душ, обтирание, массаж. Каждое утро, который уж год. Глаза жгучие, цыганские, коса толстая, над головой в три венца, лицо сухое, не по возрасту юное. Дядя Паша, Нинкин отец, сна лишился, сообразить не мог, чего это она столько времени в ванной торчит. Всего деловито: лицо-руки ополоснуть, — так, может, она сигналы кому подает? Мужикам каким? Неделю гото-

вился, на работу не пошел, в щелку проделанную подсматривал. Недосмотрел, распалился, куда-то убег. Ей потом Нинка всё рассказала. Он за ней подсматривал, Нинка за ним. А жене Лопатина наплевать. Она дядю Пашу и за человека-то не считает. Что он, что кошка Машка — один уровень, стыдиться нечего. Выйдет из ванной, запрется в кабинете, — они ей кабинет из комнаты выгородили, — и чего-то там сочиняет. Дым коромыслом: от одной папиросы другую прикуривает. Полдня пишет, полдня читает. Насосется премудрости книжной: к вечеру пьянее пьяного. Странная жена у Лопатина Николая Васильевича, во всем доме такой нет. Никогда не работала и работать не собирается. У них в роду никто не работал. Знатного она рода, древнего, бояр каких-то внучка, а от этих бояр прямая ветвь в глубины истории. Где ее он выкопал — неизвестно, но он терпит, не жалуется и на работу не гонит. У них от этого денег мало. При хорошей хозяйке и с малыми деньгами проживешь, а какая она хозяйка? На неделю обед варит, через сутки всё прокисает. Кабы не прокисало, она бы и на месяц варила. У нее кастрюля, что бак для белья. Суп из крупы, на второе — каша. Да прежде чем к плите встать, еще и заставляет себя, уговаривает, как заупрямившуюся лошадь. «Ну, давай... Вари. Надо! Не умирать же... Вари, кому говорят!» Вслух себя спрашивает, при жильцах. Уговорит — и варит. А потом вдруг вскрикнет — и в комнату. Осенило, значит. Полчаса тихо, а там запоет, забегает: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!..» Пальто на плечи и — в магазин. Колбасы, сыру, вина, пирожных, папирос дорогих — вот и нету жалованья, а Лопатин Николай Васильевич только вздохнет да ничего не скажет. Любит, значит. Когда родилась у них Ляля, начала жена Лопатина пич-

кать ее французским, музыкой, стихами, и все было хорошо и радостно, но к семи годам прорвалось что-то в Ляле, и полезли из нее родственники Лопатина Николая Васильевича — костромские мещане, и потеснили боярский род. Рвет детское платьице налитая грудь, бедра при ходьбе кольшатся, полные колени учителя физкультуры с ума сводят: всех страшует учитель физкультуры — и ничего, а до нее дотронется — руки дрожат; а сама она сонная, ленивая, глаза полужакрыты: ничего-то ей не надо, ничего-то она не хочет, лишь бы поспать подольше да поесть послаще. «Люди! — говорит Софья Ароновна. — Раньше в тринадцать лет замуж отдавали. Вы думаете, это плохо? Я думаю, это хорошо».

Рядом с лопатинским — стол Экштатов. Всё чисто, всё прибрано, каждая вещь на нужном месте стоит: бабушка Циля Абрамовна старается. Софья Ароновна напечет, нажарит, наварит, по столу разбросает и на работу бежит, а Циля Абрамовна потихоньку убирает, больше одной вещи в руки не берет: сковородку, кастрюлю, солонку; трудно ей в ее-то возрасте. Раньше, с год назад, была она хоть куда, да подкосил ее сын Гриша. Ласковый был сын, добрый, почтительный — весь в отца, а работал он в Ленинграде, в пожарной охране. «Еврей-пожарник», — смеялся над собой. И досмеялся. Арестовали сына Гришу за поджог Ленинграда. Двое сирот остались. «Еврей-пожарник, — сказал следователь его жене. — Это с самого начала было подозрительно». Циля Абрамовна с тех пор газеты читает. Хочет понять, что происходит. Да еще каждый час к почтовому ящику торопится. В дырочки заглядывает, ждет чего-то, не плача плачет.

За Экштатами — стол Хоботковых. Красивый стол, новый: его отец вместе со шкафом по ордеру

получил, премировали отца за ударную работу. На нем сейчас няня обед готовит, а Костик на табуретке ногами болтает, кочерыжку грызет. У них с братом Лёкой драки из-за кочерыжек, но Лёка — в школе, и вся кочерыжка Костику досталась. «Дед плачет, баба плачет, — тянет он свое. — А чего плакать?..» Няня задумывается, няня ответ ищет. «А дети у них где?» — спрашивает няня. Этого Костик не знает. Этого и сказка не знает. «Стало быть, — решает няня, — по детям плачут. Старики завсегда по детям плачут». И мизинцем слезу смахивает. Смешной у нее мизинец, ломаный, буквой «Г». Лицо толстое, круглое, глаза голубые, мелкие, живот большой, мягкий — при ходьбе колышется. Костик, когда плачет, в живот головой тычется. Очень это утешает. Няня кормит ребят по-простому, по-деревенски. Они у нее сеledку молоком запивают. И ничего, никакого расстройства. Мама Костика ей не мешает, мама спокойно на работу уходит: няня и накормит, и погуляет, и спать уложит.

У няни кастрюли-сковородки на столе не помещаются, она Нинкин стол заняла. У Нинки столик маленький, узенький, с двух сторон отпиленный: они позже всех приехали, в щель между столами влезали. Нинкина мать обед стоготит — много наварит, жирно, посуду приберет и мыть его начинает теплой водой с мылом, и ножом скоблить, как в деревне. Чтобы стол был светлого, струганого дерева. Она и сама такая: чистая, ладная, румяная, по коридору идет — паркет трещит. Тетя Шура на фабрике работает: ударница, активистка, бригадир, две грамоты у нее. Соберутся на праздник — бригада, одни бабы, десять человек на восьми метрах, и песни голосят. А мужа за дверь выставляют, чтоб не мешал. Муж у нее, дядя Паша, мелкий, плюгавый, совсем мужчина неинтересный.

Мужиков в деревне войной повымело — она за него пошла. Был, правда, еще один, Сеня-инвалид, да он так хотел, без женитьбы, но она согласия не дала. Уж на что времена тяжелые: кого в гражданскую побил, кого в империалистическую, кого красные мобилизовали, кого — белые, кого — зеленые, ополоумели бабы без мужиков, а Нинкина мать соблазну не поддавалась, законного мужа хотела, за первого воротившегося замуж пошла. Первым дядя Паша оказался. Только детей у них долго не было. «Я человек тухлый, — объяснял дядя Паша. — Во мне жила войной подорвана». Потом Нинка родилась. Это уж когда они в столицу переехали. Не иначе как с московских харчей, с городской пищи.

Последним у двери — стол Кукиных. Кукины — жильцы тихие, неприметные, их неделями можно в квартире не встретить. Утром встанут — и на работу, вечером придут, в комнате запрутся и до утра затихают, только на машинке стучат. Редко когда в туалет прошмыгнут. Она сверхурочную работу берет, переводы печатает, а он по приемнику передачи слушает: арии из оперетт. Тихо-тихо, из коридора не разберешь. Очень любит Кукин арии из оперетт еще с той поры, когда молоденьким студентом возил по ресторанам артисточек, папашины деньги расшвыривал. Он теперь пожилой, она пожилая — детей нет. На кухне стол пустой, газетой застеленный, и над столом (не как у других) ни тёрки, ни воронки, ни молчалки. Они в комнате на плитке готовят. Плитка особая, из-за границы привезенная. Он от Внешторга в Париж-Лондон ездил, оборудование закупал. И она с ним — переводчиком. Приехали — двадцать чемоданов привезли. Так и стоят в комнате один на одном, до потолка. Трюмо с фарфоровыми купидонами, кровать никелированная с

шишечками, люстра хрустальная. Костик раз был — видел, а из соседей один дядя Паша к ним заходит. Постучится понахальнее — они и пустят. Даже чай пил у них дядя Паша, с французской конфетой. Кукины его боятся: он пролетарий, ему терять нечего. А больше никого к себе не пускают, взаперти живут. Когда прислуга у них была, они и прислугу не пускали. Она днем на кухне сидела, ночью в ванной спала: положит тюфяк в ванну и кран потуже завернет, чтобы не капало; и только вечером, когда они дверь отпирали, комнату убирала, пыль смахивала, другую работу под присмотром делала. Жадные они, Кукины. Себе — мясо, прислуге — кости. Себе — гречку, ей — ячневую. Себе — сливочное, ей — подсолнечное. Яблоко чистят — из кожуры компот варят. Карандаш на бумажке чинят, сор в ведро выбрасывают, а бумажку обратно несут. Как ни таись, как ни запирайся, коммунальная квартира всё видит, всё замечает. Много у нее глаз, у коммунальной квартиры. Не зря замки висячие понавешаны, не зря в комнату никого не пускают, не зря сама Кукина в обед через весь город домой едет, дверь дергает. Дернет пару раз — и обратно на работу. А когда старик Кукин не болеет, каждое утро, будто на службу, приходит. На стул сядет, подбородок на трость уложит и сидит в темном коридоре — дверь стережет. Старик Кукин — купец первой гильдии, бакалеей торговал на Тверской, дом имел в Дегтярном переулке: о шести этажах дом. Всего лишился старик. Теперь он ученый, теперь у сына вещи стережет. У самого жена дома чуть живая, ухода требует, а он сюда ползет. Двумя трамваями, с пересадкой. Глаза не глядят, ноги не ходят, а едет. Не зря, стало быть. Все видит коммунальная квартира, все понимает, и оттого у Рената ключ в дверях торчит. Не от рассеянности, не от

безалаберности, а из принципа. Чтобы старик Кукин, сидя на своем посту, видел ключ в ямалутдиновской незапертой двери.

Костик доел кочерыжку и в коридор пошел, к кукинской двери. Встал вплотную, лицом к лицу, глазами часто моргает, старика передразнивает.

— Иди, мальчик, — советует Кукин уснувшим голосом. — Иди в свою комнату. Иди...

Пришла из кухни няня, повела Костика одеваться — и на бульвар. В коридоре тихо стало, только на улице чуть громыхает. Сразу и не разберешь: то ли трамвай едет, то ли гроза собирается. Глаза закрываются, палка на подбородок давит. Спит старик Кукин на боевом посту...

5

Бульвар — это клуб. Собираются няни молодые, пожилые, средних лет, рассаживаются на скамейках по интересу. У молодых разговоры про женихов, про наряды, про субботние гуляния с солдатами в Александровском саду. Няни средних лет — больше про хозяев, про их личную жизнь: всё знают няни, и друг с дружкой семейными тайнами делятся. Няни пожилые о товарах — что, где, почем, да про деревню, про покосы, про урожай: «Дожжей бы нонче, дождей...» А в Москве — сушь египетская, в Москве лей не лей — урожай не будет, а в их деревне, может, дождя-то и не надо, в их деревне, может, потоп с небес, но находит жара на город, срабатывает вековое, и хоть давно из деревни, не один десяток годов, а глядят, сощурившись, на небо и шепчут сухими дрожащими губами: «Дожжей бы нонче, дождей...» А то вдруг соберутся в кружок, — что молодые, что старые, — и на картах судьбу пыгают: «Сейчас, через час, к вечерочку, на всю ночь», и слова значительные

произносят: «поздняя дорога, веселые хлопоты, фальшивая надежда», а то и «переменная жизнь с крупным разговором через червовый интерес». А одна молоденькая няня, — сама еще девочка, — играет со своей воспитанницей в классики, и обижается на нее, и ссорится, и оспаривает им одним известные правила. Ребенок — он и есть ребенок.

Выходит на бульвар няня с Костиком, и Нинка выходит с ними. Интеллигентные дети Нинку боятся. Она их бьет. Смертным боем. Ходит по бульвару, руки за спину, и жертву ищет. Нинке бы во дворе гулять. Там все такие. Там Витька — гроза двора. Может палкой огреть, может кирпичом засветить. У него штаны балахоном, до колен, ноги спичками болтаются. Через эти штаны три брата прошли: Вовка облохматил понизу, для Кольки их по икры обрезали, а для Витьки — по колено. Отец — дворник: на каждого штанов не напасешься. Если Витьку тронешь, набегают братья: старший — по носу, средний — под дых, младший — за ногу. Любого взрослого завалят, любому силачу накостылят. Нинка во двор не ходит. Во дворе ее бьют, на бульваре — она. Нинка ходит на бульвар. Девочки с локонами и мальчики в бархатных штанишках не хотят с ней разговаривать, бойкот объявляют. А Нинке и не надо, чтобы с ней говорили. Она и так молчит всё время. Хочет — по бульвару ходит и жертву ищет, не хочет — домой идет и пяткой в дверь колотит, пока не откроют.

Няня любит гулять с Костиком, по много часов выгуливает. Своя компания — свои разговоры. «Дожжичку ба...» — говорит она, обтирая губы концом платка, и все няни согласно кивают головами: «Дожжичку ба...». На улице теплень ранняя — май месяц, скоро на дачу: наговориться теперь на все лето, до осени. А то сборы начнутся:

крупу закупают, мыло, соль, сахар, баллон от кислорода по горло керосином заливают — всё лучше, меньше потом из города возить. И так Вера Гавриловна что ни день полные сумки таскает. В поселке ничего не купишь, одно молоко козье. Зато ребятам приволье: речка, лесок, чистый воздух, да и няне неплохо: там свои соседи, извечные, который год у одних хозяев снимают. У них комната, и у соседней комната; терраса общая.

Костик по бульвару бегаёт, даже вспотел. У Костика друг на бульваре — Сашенька. Сашенька — мальчик нервный, впечатлительный: когда кому-нибудь больно, Сашенька вместе с ним плачет. Родители Сашеньку у гомеопата лечат, родители спят и видят, чтобы он хоть разочек подрался. А он не дерется. У него организм не так устроен.

Костик с Сашенькой вокруг скамейки бегают, друг друга догоняют. Если по прямой бежать, вдоль бульвара, можно и не догнать, а это обидно. А так всё поровну, и не поймешь, кто за кем: Сашенька-миротворец придумал. Они бегают, визжат радостно, а Нинка от злости на спину ложится и под скамейку ползет, головой вперед. Она всегда так делает, если что не по ней. Нинке клоун в цирке язык показал, так ее потом полчаса из-под стула выковыривали. Сашенька сразу бегать перестал, в сторону отходит: не может он спокойно смотреть, как человек под скамейкой мучается. Да и страшно стоять рядом: вылезет Нинка наружу, — грязная, лохматая, сиплая от ярости, — и бить начнет наотмашь, направо и налево. Или плевать-ся.

Ходит по бульвару тихий дебил Гена, кучерявый и узколобый, роста великаньего. Ему бы в баскетбол играть, да нет еще баскетбола, не культивируется. Подходит к каждому, пальцем в грудь

тычет, смехом заливается: «Ты, — говорит, — сумасшедший, шедший, шедший, шедший...». Понять трудно, будто большой толстый язык с трудом ворочается во рту. Мало ему, языку, там места. Тесно. Зимой Гена снег сгребает с дворниками, штаны у него драные, ватник немислимый, ботинки битые сорок пятого размера; а летом в камушки играет с детишками, в салочки, и жутко глядеть, как несется по бульвару великан, и восторг у него на лице, и криком захлебывается рот, а за ним — орава ребятишек: не оторвать их от него, свой он, великан, ребячий. А на великане сандалии на босу ногу и длинные черные штаны с голубыми бретельками; сам, говорят, бретельки пришивал, очень нравятся ему эти бретельки, тельки, тельки, тельки...

На бульваре скрипка заиграла. Старый музыкант к столбу прислонился, редкие волосы на слепые глаза упали — он не подбирает, а на груди коробочка от монпансье лохматым шпагатом к шее привязана. Кто сколько бросит. В том году проходил моряк, заслушался, задумался, тридцать рублей положил: няньки до сей поры вспоминают. А за спиной скрипача — дом полярников, легендарный дом, куда приезжают прямо с Севера, в унтах, в меховых малицах, где на одном балконе шкуру белого медведя проветривают. Прохожие головы задирают, пальцами показывают, спорят, кто живет. То ли Папанин, то ли Кренкель, а может, Ширшов с Федоровым. Только-только со льдины вернулись и всеобщее любопытство вызывают. А на углу бульвара кондитерская в полуподвале: большие ириски, на фантиках стремительные бипланы, неуязвимые танкетки, грозная кавалерия — все ребята их собирают; на Арбате зоомагазин: белые мыши, рыбки, черепахи: мыши раз убежали — две ночи няня не спала, на пол боялась ло-

житься; книжки-малышки в магазине на улице Горького; парашютная вышка на соседнем бульваре: Костика бросили с нее, он легкий — повис, ноги болтаются, пока вниз за трос подтянули, мама чуть с ума не сошла; исторический музей, зоологический музей, зоопарк: всё недалеко, всё рядом; и где-то там, в центре, главный универмаг: накопишь копеечками пятьсот штук, а тебе за это патефон, или «Фотокор», или еще что; свято верили ребята, и копили, собирали монетки. Хороший район, но лучше всего бульвар: два ряда деревьев, газончики по сторонам и грохочущий трамвай за железной решеткой. Бульвар — это джунгли, тайга, прерии, Северный полюс, пустыня Сахара; бульвар — это птицы, гусеницы, червяки, одинокая, обезумевшая от обилия сачков бабочка; бульвар — это экзотика, потому что по нему часто гуляет негр — большая редкость по этим временам, и няньки замолкают, когда он проходит мимо. Бульвар — это начало жизни, ее середина и конец: сколько ножек протопало, сколько влюбленных целовалось, сколько стариков досиживало последние дни свои... А по середине бульвара гордо и независимо гуляют мальчик и девочка, катят коляску с ребенком. Мальчик и девочка ждут восемнадцати лет, чтобы расписаться, чтобы стать мужем и женой.

— Костик, — кричит няня. — Домой!

Вышли с бульвара, а на тротуаре Софья Ароновна руками машет. Пришел из школы брат Лёка. У Лёки насморк, у Лёки температура. Софья Ароновна горло посмотрела, Софья Ароновна лоб пощупала: «С лекарством за семь дней пройдет, без лекарства — за неделю». Но кальцекус дала, в постель уложила, врача вызвала — «придет Шапошников, послушает», а сама на работу побежала. Опаздывает она на работу. Всю жизнь опазды-

ваает — опоздать не может.

Няня заахала, няня заахала, бежит домой — толстым животом трясет: приехала из деревни, всю любовь, от своих детей оторванная, на Леку перенесла, выкормила, выпоила, в болезни выходила, купала, стирала, горшки выносила, всей деревне карточку показывала, к родной матери ревновала, гордилась не нагордилась его успехами, сама неграмотная, фамилию написать не умеющая. Костика она тоже любит, но когда Костик появился, у нее уже Лека был: Лека, Леня, Леша, Алексей. Мужа-покойника тоже Алексеем звали. „Когда я вырасту, — твердо пообещал Лека, — куплю тебе избушку. Уедем отсюда, будем вдвоем жить”.

Прибегают домой — няня сразу на кухню, обед разогревать, и Костика с собой берет. Чтобы не заразился. А как не заразишься, когда на ночь он всё равно туда пойдет?.. Комната одна — воздух один: заболел Лёка — заболет и Костик. Это уж непременно. Да еще Нинку или Манечку прихватят. В эдакой тесноте не уберешься.

Обедает Костик у Ямалутдиновых. Няня ему первое, второе, компот несет, на раскладушку укладывает, крестит торопливо:

— Спи, Костик. Спи, родимый.

Он и спит. Тихо, тепло, сладко, и трамвая не слышно — окна во двор.

6

Снятся Костику сны: длинные, подробные, как любимые сказки. Две жизни у него: одна днем — с няней, с родителями, с братом Лёкой и коммунальной квартирой, а другая ночью — неизвестно где, неизвестно с кем. Он и заплачет во сне, и засмеется, и руками заскребет, и поползет куда-то:

утром, глядишь, ноги на подушке лежат. Есть сны плохие, частые: знает заранее, что будет, а помешать не может. Есть сны хорошие, тоже частые: снится ему то, чего не разрешают, чего нет, чего нельзя. Днем нельзя на двери кататься — он ночью катается. Воду из-под крана: тут — нельзя, там — можно. Мороженое — сколько влезет. В зоопарк, в кино, с вышки парашютной — пожалуйста. Хотя нет... С вышки он боится, не хочет он с вышки, а она через день, противная, снится: на тросе висит, ноги болтаются, а внизу мама плачет. И ботинок с ноги, как лист с дерева, невесомо слетает ей в руки... Зато на карусели — пожалуйста: днем — когда еще папа соберется да поедет с ним в парк, а ночью закрыл глаза — и поплыл, и закружился... Ты его ругай не ругай, наказывай не наказывай — во сне всё можно, всё дозволено. И ничего не поделаешь: сны — они никому не подвластны, даже тем, кому подвластно всё. Иной раз такое приснится: сто лет разрешения проси — не допросишься.

Костик просыпается — кто-то в углу бормочет. Известно кто: земляк ямалутдиновский. Сидит на полу, качается из стороны в сторону. «Молитесь», — объяснил брат Лёка. Бороденка жидкая, глазки-щёлки, кожа на лице — ботинок заскорузный. Неделю уже живет, по судьям-прокурорам бегаёт, по начальству всякому — правду татарскую ищет. У них в городишке мечеть закрыли, старикам молиться негде. Сложились старики, самого бойкого да самого грамотного в Москву отправили. А Москва не понимает, Москва наивности татарской удивляется, в Москве храм Христа-спасителя по кирпичику разобрали — никто не знает зачем, — подумаешь, мечеть какая-то. Самый бойкий старик через день заболел, сутолоки городской не выдержал, домой помирать поехал, а са-

мый грамотный у Ямалутдиновых живет, деньги общественные проедает, с Ренатом по вечерам спорит. Ренат его перевоспитывает. Ренат всех перевоспитывает. Он молодой, Ренат, горячий, для него нет преград на море и на суше, ему не страшны, Ренату, ни льды, ни облака, а главное, он всё понимает, Ренат, всё одобряет.

Старик с пола поднимается, на Костика глядит, языком цокает:

— Ренату не скажи. У него своя молитва, у меня своя. Халву будешь?

Поели халвы. Здоровенный кусок на столе лежит, в газету завернут. Самарья купила. Непрактичная она, Самарья, сладкоежка. Рубль лишний заведется — бежит на Арбат, в «Восточные сладости». Халва, козинаки, рахат-лукум... Костик всего попробовал.

— Мышка бежала, — рассказывает Костик с полным ртом, — хвостиком махнула, яичко упало и разбилось...

Задумался старик над загадкой, понять не может. Чего-то бормочет, пальцы загибает, качается на стуле, будто опять молится. Далеко старик со своими мыслями, далече дальнего. Что ему мышка? Что курочка Ряба? Своих забот невпроворот. А заплакали дед с бабой — и ему плохо стало.

— Ай-яй-яй... — шепчет старик. — Худо... Кругом худо... Дед плачет, баба плачет... Старые стали. Старого легко обидеть.

В коридоре голос знакомый слышится. Костик охает и — за дверь. Чуть Шапошникова не упустил: тот уже от Лёки уходит.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой, — рокошет Шапошников. — Куда же ты подевался?

— Тут я, — захлебывается Костик. — Тут...

— Где? — оглядывает Шапошников со своей высоты, и от голоса его смешно, как от щекотки.

— Где это тут? Не вижу...

— Да вот он я... — подпрыгивает Костик. — Вот он!

А сам — скорее на стул и ногу на ногу закидывает. Шапошников — огромный, лохматый старик — друг ребячий; саквояжик в его руке, словно игрушечный. Когда по бульвару проходит, весь бульвар, вся мелюзга на скамейки садится, ногу на ногу закидывает. А он мимо идет и черненьким молоточком по коленкам постукивает: ребята визжат, ноги сами вверх подскакивают. Всех он знает, Шапошников, и детей, и взрослых: всех лечил, всех выслушивал, со всеми здоровается. «Пока по улице пройдешь — язык отвалится».

— Давай молоточек! — кричит Костик. — Доставай!

Шапошников в саквояжике порылся, молоточек вытащил, Костика по коленке постукивает. Старый стал доктор, руки трясутся, куда надо — никак не попадает, а нога всё равно подскакивает. Очень уж хочется Костику, чтобы подскакивала, вот она и подскакивает.

В коридоре старик Кукин застыл. Как мебель, как шкафы соседские. Совсем окаменел старик, уже и глазами не моргает, а рядом Нинка пристроилась. Сидит на полу и кукинские ботинки расшнуровывает. То расшнурует, то зашнурует... То расшнурует, то зашнурует... Кукин ее не гонит: он молчун, она молчунья. Думать не мешает, дремать не мешает, сторожить не мешает. Шапошников и ей предложил молоточком постучать. «Больно надо...» — бурчит Нинка и головы не воротит. Нинка на всех обижена, Нинку отец из комнаты погнал. Пришел неурочно, с другом: водку пьют, в шашки играют.

Костик со стула слез, Шапошникова за брюки дергает, про деда с бабой в который раз спраши-

вает:

— А чего им плакать? Мышке надо спасибо сказать...

Шапошников брови свои лохматые сдвинул, на Костика глаза таращит.

— Нонсенс... — рычит Шапошников и хохочет басом. — Устами младенца... — рычит он и опять хохочет.

Костик тоже развеселился. Машет руками, топает ногами, жмурится, визжит по-пороссячи: с перепугу жена Лопатина в коридор выскочила. Увидел ее Шапошников, поклонился чопорно — и в дверь. Ходил он когда-то к ним в гости, романсы под гитару пел, цветы дарил, стихи ее слушал, но начал мрачнеть Лопатин Николай Васильевич, начал задумываться и поздно приходить с работы, и прекратил Шапошников свои визиты. Ничего-то ему не надо было от этой семьи, только сохранилась привычка ухаживать за дамами, да цветы дарить, да на колени становиться, а годы уже ушли, и ухаживая за всеми, не выбрал он себе никого, и остался теперь классически банальный вариант: чудак-доктор, друг семьи. Но в отступление от всех правил начал задумываться Лопатин Николай Васильевич: не знал он, видно, классики, не читал ее. С тех пор приходит к ним Шапошников только по вызову, когда болеет дочка Ляля, и выслушивает ее, и рецепты выписывает, и советуется с ним жена Лопатина относительно раннего развития дочери: лежит на кровати пышная, цветущая женщина, а глаза пустые, сонные, как слепое зеркало, пальцы в чернилах, косички на обе стороны, и спокойно, безразлично, не как все девочки, спускает с полного плеча ночную рубашку, открывает для осмотра грудь... Уже много лет прошло, а не любит Шапошников приходить к ним по вызову.

В коридоре пусто стало, страшновато.

Няня в аптеку побежала, к Леке нельзя — заразишься, старик Кукин с Нинкой сидят — не шевелятся, а тут еще на кухне что-то затюкало, — то ли вода из крана, то ли нет, — да кошка Машка на черном ходу мяучит, домой просится. Идет Костик на кухню, по сторонам озирается, а дверь кошке открыть страшно: черная лестница — опасная лестница, рядом чердак, а на нем (шушукаются взрослые) мертвое тело нашли. А если спуститься вниз — страшный двор, колодец, глазастый от окон, где помойка, где проходные дворы, где известные всему дому братья-разбойники: Витька, Колька да Вовка. Недаром черный ход на цепочку да на крюк запирается, а на парадном — один замок, копеечкой откроешь. Тут заворчал, захлюпало, залопотало в трубе: Костик бегом в коридор — дядю Пуда с тетей Мотей будить. Кошка Машка — их кошка. Да разве добудишься? Они спят крепко, после супа сил набираются: ей еще в учрежденье идти, сор-окурки подбирать, из укромных уголков выковыривать, ему всю ночь склад сторожить, слабость от страха.

Из Нинкиной комнаты звуки доносятся. Дядя Паша с другом на два голоса разыгрывают: «Рюмочка Христова, откуда ты?» — «Из Ростова». — «А паспорт у тебя есть?» — «Нема». — «Тут тебе и тюрьма». Потом пауза, криканье, чмоканье, стук шашек. «Безлаберно ходите, — говорит дядя Паша. — Безлаберно...» Очень ему нравится это слово — «безлаберно». А на стене деревенская родня пристроилась: много мелких фото в большой раме. Стоят навтыжку, плечом к плечу, лица пуганые, глаза круглые: с большим уважением на столичного родственника смотрят.

Тут Костик подскакивает на месте и — в кухню, за табуреткой. Телефон на стене висит — без

табуретки не дотянешься, а рядом, карандашом по штукатурке, мамин и папин номера записаны: для няни, на всякий случай. Только набрал — мама. Ее голос. „Жили-были дед да баба...” — начинает Костик обстоятельно, с самого начала, а мама слушает и поддакивает: „Так... Так... Ну конечно...”, чтобы со стороны казалось, будто она по делу разговаривает. У нее начальник строгий, у мамы, он не поощряет частные разговоры в рабочее время. Костик задал вопрос, ответа ждет. „Во-первых, — говорит мама, — им не надо было этого делать”. — «Чего этого?» — не понимает Костик. «Этого», — повторяет мама. «Бить?» — «Нет». — «Плакать?» — «Да». Мама сама не плачет и не любит, когда другие этим занимаются. «А во-вторых?» — «А во-вторых, — мама подыскивает слова, чтобы разговор казался деловым, — никогда не надо терять надежды. Понятно?» — «Нет, непонятно». Мама вздыхает и говорит прямо, отбросив всякие секреты: «Если одно яичко было золотое, то и другое может быть золотым. Извини, Костик, мне некогда». Тогда Костик отцу звонит. Захохотал отец, развеселился. «Погоди, — говорит, — у подчиненного спрошу». Спросил. Тот не знает. «Слышь, Костик, придется, видно, его уволить».

И опять Костик по коридору бродит. Не будь Лёка больной, сидел бы он теперь рядом с ним, каракули выписывал. Неграмотный пока Костик, из всего алфавита пяток букв узнаёт; всё обещает Лёка выгучить, да никак не соберется. Няня тоже неграмотная, и потому Лёка за нее письма в деревню пишет: «Низко всем вам кланяюсь и заочно крепко целую». Лёка сколько с ней возился, да так и не научил: не может она, старая стала, ум грамоту не принимает. Когда по радио объявляли, что с неграмотностью у нас покончено, про няню, видать, позабыли.

— Лёка! — Костик дверь открыл и в комнату засматривает. — Лёка! Мышка бежала, хвостиком махнула...

Лёка на диване сидит, горло завязано, подушками обложен: книжку читает. Костику даже завидно стало. Пусть уж лучше он болеет, а Лёка по темному коридору бродит, от микробов спасается.

— Лёка! Скажи...

Лёка всё знает. Ему еще девяти не было, а он уже такое число знал, до которого сто лет считать надо. Ты не досчитаешь — твои дети досчитают. Дети не досчитают — внукам останется. Лёка от книжки оторвался, на Костика снисходительно смотрит.

— Всё ясно! — Ему всегда всё ясно. — Всё очень просто! — У него всегда всё очень просто. — Вырастешь — поймешь!

— Лёка! Сейчас...

— Уйди.

— Лёка!..

— Уйди, а то чихну.

Костик закрывает дверь, обиженно хмурится, идет к Нинкиной комнате дядю Пашу с другом послушать. А там крики, шум, проверка на дружбу идет. Дядя Паша — мужик тухлый, а драться горазд и пить тоже горазд. «Небось, — куражится дядя Паша, — у нас не протекёт...» А друг ему не верит, друг считает, что протекёт, что должно протечь, обязано, не может у нас без этого, и в доказательство на потолок показывает, где сырые пятна с апреля стоят. И тогда дядя Паша стервенеет. «Ежели я велю тебе из окна сигануть, — пытается он и глазами в глаза впивается, — сиганёшь?» — «На кой?» — резонно удивляется тот. «Для друга. Не спрашивая». — «Хочу знать, на кой». — «Без

«на кой»...» — «Без «на кой» — не сигану». — «Ах так... Ых... И-ех...». И в морду. И пошло... И поехало...

Тут сзади зашуршало: Нинка из темноты выступила, на Костика надвигается. Нинка — человек злопамятный, неделями обиду держит: ты уже и позабыл, а она из-за угла выскочит, кулаком по спине трахнет. Ты и не знаешь за что, а она знает. Костик сразу на ноги смотрит. На ногах у Нинки валенки: Лёкин способ не годится.

— Давай поиграем, — мирно предлагает Костик. — Давай, а?

— Поговори у меня, — сипит Нинка. — Как дам — запищишь!

Тут тетя Шура, Нинкина мать, с работы пришла. Дверь в комнату отворила, а там друзья по полу катаются. Тетя Шура берет лучшего друга за шиворот и — с лестницы, ступеньки считать, а дядя Паша сам присмирел. Сел в угол, закурил, дым со свистом тянет: папироска фыркает, сыплет злыми искрами. Дядя Паша боится свою жену. «Вьпишу!» — грозится. И вправду выпишет, и в деревню отправит, гусей пасти. Она активистка. Скажет, где надо, и — привет. Еще когда Нинки на свете не было, дядя Паша раз запил-загулял («Жена не стена — подвинется»), неделю домой не являлся: все морги-больницы обегали, пока не шепнули верные люди про Клавку-мотористку с их фабрики, змею подколодную. Ух, и разъярилась же тетя Шура, месяц злобу копила, а потом привела домой мужика, напоила-накормила и в кровать к себе уложила. «Ты так и я эдак!» Нинкин отец с работы пришел, дверь разносил, орал-матерился так, что детям уши затыкали, а наутро они с этим мужиком встали, позавтракали и на работу ушли. Что у них было, чего не было — ни-

кто не знает, только с той поры дядя Паша — шелковѣй, и вся коммунальная квартира сказала: «Правильно!». Даже бабушка Циля Абрамовна.

Но вот открывается дверь, Манечка в коридор выходит. Это значит: уроки закончены, теперь у нее час игр перед музыкальными упражнениями. Манечка живет по режиму. У Манечки характер — кремень. Ее мать с отцом боятся, ее Нинка слушается. «Люди! — удивляется Софья Ароновна. — Кто мне подсунул такого ребенка? В кого это она?» А Манечка известно в кого. Манечка в бабушку Цилю Абрамовну. Верить в Бога, когда все вокруг не верят, когда не верить легче, проще и выгоднее, — это же какой характер надо иметь! Бабушка Циля Абрамовна водит Манечку в музыкальную школу. Как она не хотела, как отлынивала, как однажды выскочила радостная с занятий: «Бабушка! А у меня скрипку украли!..», а теперь от инструмента не оторвешь, соседи воем воют, а она до ночи упражнения разучивает. Манечка — человек самолюбивѣй, ни за что не допустит, чтобы у кого-то лучше было. Может, потому и на скрипке играет, что усомнились в ее способностях. «Умница, — хвалит Софья Ароновна. — Для девочки это всегда кусок хлеба».

Манечка берет одной рукой Нинку, другой Костика и ведет в угол, к вешалке. Когда с Лёкой игра, то в войну, в летчиков, в Северный полюс, а нет Лёки — ведет их Манечка к вешалке, залезает с ними под пальто, страшные истории рассказывает. Темно, жарко, жутко под пальто, и беззащитные ноги наружу торчат... Выходит из комнаты Ляля Лопатина, большая, сонная, глаза — слепое зеркало, и тоже под пальто лезет — Манечку послушать. Про старую колдунью на чердаке, про домового на черной лестнице, про толстую жабу в ванной, которая сосет воду воронкой, всасывает-

захлебывается...

И начинается страшная история. И кто-то уже повизгивает от ужаса. И в темноте не поймешь, кто. И торчат наружу незащитные ноги: две полные — женские и шесть тоненьких — детских...

7

Подошел вечер, все с работы вернулись. В коридоре оживленно стало, свет зажгли в коридоре, чтобы не столкнуться друг с другом, не облить ненароком супом, чаем или другой едой. На кухню жильцы бегут, в ванную, в туалет — очередь целая. Спасибо — больных нет, а то шестая квартира так мучается — и смех, и горе! Иной раз на Арбатскую площадь бегают, за деньги туалетом пользуются. Кабинка — гривенник.

Пришли с работы Ямалутдиновы, Ренат и Самарья, — они уходят вместе и приходят вместе, — а земляк чайник согрел — ждет. Сейчас чай попьют, беседовать будут, а Самарья чашки помоеет, рядом с мужем устроится, голову к нему приклонит. В другие дни нет его по вечерам — учится, а она ничего не делает: мужа ждет. У нее, у Самарьи, классов мало, она учиться стесняется. Стеснительная — вся горит. Земляки приходят вечером и сразу на раскладушку — дуреют от города, а она в окно смотрит, вещи перебирает, волосы расчесывает, а то вдруг возьмет и пол вымоет. Или жена Лопатина в стенку стукнет: сундук откроет, наряды старые, бальные, вытащит, на Самарью надевает — любуется. Красавица Самарья, шемаханская царица, у самой дух захватывает: черная коса до пояса, щеки горят, ресницы опущены, талия-рюмочка корсетом перехвачена. Ренат раз увидел — обалдел, дотронуться до жены не решался.

— Дед плачет, баба плачет... — добивается от-

вета Костик. — А чего плакать-то?

— Нечего плакать, — решительно отвечает Ренат. — Дед тут, баба тут... Чего им еще надо? — и до Самарьи дотрагивается. Он светится, она светится. Костику на удивление.

Пришел с работы Экштат Семен Михайлович — и сразу за таблички. Он коллекционер. Собирает варианты своей фамилии. Казалось бы, просто — Экштат, а чего только у него нет: Экштад, Экштадт, Экшат, Иштад, Эхштат, и венец, гордость и украшение коллекции — Икштут. А сегодня еще обозвали — Эхшадов. Не Бог вещь что, а всё ж таки пополнение. Семен Михайлович доволен. Перекладывает таблички и под нос себе поет-заливается, Зиновия Шульмана копирует: «Запрягайте, братцы, коней: кони вороные, кони вороные. Мы поедем догонять годы молодые. Мы поедем догонять годы молодые». Попел, поужинал и — на бульвар. С весны до осени каждый вечер гуляет. От памятника Тимирязеву до памятника Пушкину. От памятника Пушкину до памятника Тимирязеву. Попить сельтерской, съесть мороженое. Руки за спину, черные кудри дыбом, голова вниз и набок, мудрый, исподлобья, взгляд: поэт, композитор, ребе. Все оглядываются. Он всегда один ходит — медленно, не торопясь, никогда Софью Ароновну не берет. Да ей и некогда.

Пришел с работы Лопатин Николай Васильевич. Обычно его жена по субботам куда-нибудь тащит. В театр, в кино, а то вдруг в Сокольники, на Воробьевы горы, в Донской монастырь. Когда в театр, — на Чехова или на Ибсена, — весь день она готовится, нервничает, не курит, одевается по особому, а возвращаются обратно: он притихший, замкнувшийся, она — оживленная, радостная. Положит ему руки на плечи, посмотрит прямо в глаза — он и отойдет. Но сегодня они дома остались.

Пришел Лопатин Николай Васильевич усталый, замученный: весь день государственные деньги считал; и в шкаф полез за водкой. Рюмку в рот — и на дыбы. На него водка тут же действует. Еще не проглотил, а уже пьяный. Ходит по квартире, грубит соседям, правду в глаза высказывает, а жена смотрит на него с жалостью. Через час хмель проходит, и затихает Лопатин Николай Васильевич до другого раза, глаза от соседей прячет. Боятся он в себе этого человека, держит его взаперти, но прорвались наружу костромские мещане, прорвались там, где меньше всего ожидал, — в дочке Ляле. С тех пор и пьет. А выпьет — или буйнит или идет к Вере Гавриловне, маме Костика, душу ей изливает. Она слушать умеет. Им бы дружить семьями, да не любит Вера Гавриловна жену Лопатина. Она и сама гимназию кончала, на курсы в Политехнический, в кружки бегала: в балетный, в драматический, в кружок по изучению музыки — сначала слушали музыку, потом пересказывали своими словами. Но муж есть муж, семья есть семья.

Пришел с работы Сергей Сергеевич, отец Костика. Что ему дома делать? Сидеть спокойно не может, лежать — тем более, возиться нельзя — Лёка болен. Взял Костика, побежали в кино за билетами. «Наверно, тебя не пустят, — говорит отец. — Будешь тогда плакать?» — «Немножко поплачу», — деловито отвечает Костик и перепрыгивает через лужу. «Не стóбит», — говорит отец и тоже перепрыгивает. «Тогда похныкаю и сразу перестану». — «А без хныканья?» — «Нет, не смогу». Билетерша на Костика и глядеть не стала: конечно, не пустит, и думать нечего, как это им могло в голову прийти... Отец взял два билета, и они печально пришли домой, и Костик расстроился, и Лёка

расстроился тоже, и мама, конечно, не выдержала: гори оно огнем, это кино, никуда она не пойдет...

Они отдали билеты Нинкиным родителям, те — Нинку в кровать, хоть рано еще, дверь на ключ и бегом. Тетя Шура, когда в кино идет, разума лишается. И смеется там, и плачет. Никогда в жизни не плакала, а тут покажут ей, как героиня на вокзале прощаются, платочками машут, песню вслед поезду поют — она в рёв. Вот она — сила искусства. А Нинкиному отцу всё одно: что в кино, что в домоуправление. Все вечера там проводит. А домоуправление — жарко натопленный домик во дворе, стол под кумачом, всегда готовый под заседания, стенгазета в стихах с орфографическими ошибками, управдом — товарищ Красиков, пугливый и озабоченный. Домоуправление — клуб своего рода: днем для дворников, вечером для энтузиастов-общественников. Только квартирной теснотой можно объяснить такое количество энтузиастов. Нинкин отец — самый активный. Где беспорядок — наводит порядок. Где порядок — наводит беспорядок.

Тут из коридора крик: «Люди, моль! Полон дом мужчин и некому убить моль!» Софья Аронова с работы вернулась, пирог печет, и Костик на кухню бежит, вкусные запахи нюхать. На кухне гости сидят: племянница нянина и полотер квартирный. Мама, Вера Гавриловна, в комнату их зовет, а они не идут — стесняются. По субботам и воскресеньям квартира полна гостей, и все жильцы знают, кто к кому пришел, кто кому кем приходится. Даже гости к разным жильцам, и те друг друга знают. Племянница нянина высокая, худая, черное шелковое платье на ней будто на вешалке, — тоже в домработницах ходила, пока ее хозяин ее хозяйку не бросил. С тех пор они с хозяй-

кой вдвоем живут, мальчика растят. И не поймешь, кто она им: то ли домработница, то ли нет, потому что на фабрике работает, всю получку в дом несет. Не прожить ее хозяйке без ее получки. А няня сердится, няня ее, дуреху длинную, за полотера сватает, жизнь ей устраивает. Полотер — человек смиренный, непьющий, по улице бочком идет, вдоль стеночек, мелко-мелко, будто асфальт натирает. Когда работает, то потеет. Так потеет, как никто: струи по лицу бегут, за воротник скапываются. А когда отдыхает, дает Костику щетку подержать, воск понюхать. Добрый значит.

Мама берет Костика за руку, в комнату уводит, чтобы сватать не мешал. Сегодня Лёка болен, а то бы сделали сегодня большой чай. Большой чай — это собираются дети: и Костик, и Нинка, и Манечка, и Лёка, и Ляля, и еще один мальчик из шестой квартиры. Сначала чай пьют с конфетами, с пирогом — кто сколько хочет, тот столько и пьет; а потом концерт: «Выступает артистка Маня Экштат!» — Она выходит и на скрипке играет. «Выступает артист Константин Хоботков!» — Он стихок читает. «Выступает артистка Елена Лопатина!» — Она песенку поет. А под Новый год притащит отец Костика ёлку, верхушку срежет, чтобы в потолок упиралась: около ёлки хороводы водят, на Сергее Сергеевиче верхом катаются. Но сначала чай. Кто сколько хочет, тот столько и пьет. Потому и называется: «Большой чай».

Мама Костика кормит, ноги в тазике моет, в кровать укладывает, на ночь целует:

— Спи, Костик. Спи, золотой.

Вот и еще день прошел. День да ночь — сутки прочь.

А ночью арестовали Кукиных.

Давно уж поел свой суп и уехал на работу дядя Пуд. Сидит в брезентовом плаще на клеенчатом диване, ружье к себе прижимает, а на складе ящики разбушевались: трещат, скрипят, стреляют поочередно. Страшно на складе. Пришла из церкви тетя Мотя, фанерку с собой принесла: чистая, ровная фанерка с грузовика упала. Замочила корки голубям, помолилась, разделась, легла. В умилении заснула. Вернулись из кино Нинкины родители. Тетя Шура и поплакала, и посмеялась: до чего же этот пограничник красивый и храбрый мужчина, сколько он шпионов обезвредил — не счесть, а тут законный муж — горе одно. Разделась догола, залезла под одеяло, привалилась, обхватила дядю Пашу литыми руками. Темно. Нинка спит. Можно. Заснула жена Лопатина в своем кабинете: книги по полу раскиданы, синий дым столбом в форточку уходит. Перед сном вставала два раза, прижималась лицом к прохладному зеркалу, плакала, будто прощалась сама с собой, потом чего-то записывала, холодела от удачной строчки. Когда все улеглись, вышел на кухню Лопатин Николай Васильевич. Натер картошки, испек оладьи. Любимая еда: картофельные оладьи на подсолнечном масле. Поел горячие, со сковородки, лег на диван: ноги на валике, глаза открыты. Рядом Ляля раскинулась: храпит, ворочается мощно, скручивает жгутом мятые простыни. Заснули Ренат и Самарья: он — с одного края, она — с другого. Во сне нашли друг друга, дотронулись, прижались. Он на спине, она на боку. Носом в его плечо. Затихли Экштаты: Софья Ароновна, Циля Абрамовна, Манечка. Семен Михайлович поднялся, постоял у ок-

на, послушал бульварные шёпоты, вздохнул тяжело, снова лег в горячие простыни. Спят Хоботковы, няня, Лёка с Костиком. Комната — большая постель. Спит Кукин: сеточка для волос набок сбилась. Только жена его не спит, воров боится. Воры могут дверь взломать, могут в окно залезть, за шторами стоять, под кроватью лежать, в шкафу сидеть. Она одна и услышала, как хлопнула дверь лифта, позвонили уверенно, по-хозяйски. И не побеспокоилась даже: воры не будут хлопать дверью и в звонок звонить тоже не будут.

Открыл Ренат.

Вошли пятеро. Двое в форме, один в штатском и лифтерша с дворником.

— Тут, — показала лифтерша на кукинскую дверь.

Они прошли сначала по квартире, заглянули в ванную, в туалет, на кухню: на веревках белье висит, интимные части туалета под чужими взглядами сохнут, — подергали дверь на черный ход, а уж потом мужчина в штатском постучал к Кукиным. Негромко, но убедительно.

На шум вышел Лопатин Николай Васильевич, сразу всё понял, попросил ордер.

— А вы кто такой? — с вежливой, натренированной угрозой спросил мужчина в штатском.

— Ответственный по квартире.

— Пройдите в комнату, — приказал мужчина, но жильцы уже вышли в коридор. Столпились, смотрят. Нинкина мать накинула халат на голое тело: очень они, эти военные, на вчерашнего пограничника похожи. Самарья к Ренату прижалась. Лопатин Николай Васильевич к стене прислонился. Его жена папиросу курит: лицо белое, глаза — угли. Экштаты, Хоботковы — рядышком стоят. Тетя Мотя часто-часто крестится. Кошка Машка

у ее ног сидит. Только дядя Паша из комнаты не вышел, — утомила его Нинкина мать, да земляк ямалутдиновский съёжился на раскладушке, перепугался земляк, одеялом с головой накрылся, будто дитё малое.

Дверь раскрыта, чемоданы по комнате разбросаны, шкаф нараспашку: наконец-то квартира может заглянуть к Кукиным. Сидят Кукины рядышком на стульях, словно у фотографа, и сеточка для волос набок сбилась.

— Пройдите, граждане, по комнатам, — просит штатский. — Ничего особенного.

— Это для вас ничего особенного, — говорит жена Лопатина.

Мужчина пригляделся внимательно и вдруг просиял:

— Софья Ароновна! Голубушка...

Смотрит Софья Ароновна — ее пациент. А он уже рот разинул, тычет пальцем в свои кривые зубы.

— Болит? — спрашивает Софья Ароновна.

— Болит, проклятый... Месяц как болит. Да ведь зайти некогда! Крутишься, крутишься... Что днем, что ночью! Может, запломбируете? — вежливо так, боязливо. Зубной врач страшнее страшного.

— Придете завтра, — говорит сурово Софья Ароновна. — Рвать будем.

Он и задрожал.

Долго они возились с чемоданами, до пятого часа ночи. Никто не ложился. Кучкой сидели на кухне, поближе друг к другу, говорили тихо, как при покойнике.

Потом их увели. Кукин хотел за руку попрощаться — не дали. Кивнул головой, жена кивнула — все в ответ закивали. А кошка Машка уж на что не любила Кукину, — та ей никогда обглодан-

ной косточки не бросит, — а тут подняла хвост кверху, независимо прошла мимо штатского, о ногу Кукиной потерлась. Та — в слезы, няня — в слезы, Самарья — в слезы, бабушка Циля Абрамовна — тоже в слезы: увидала воочию бабушка, как сына Гришу арестовывали. Дверь отворили, тетя Мотя перекрестила, дверь затворили.

Вещи увезли, комнату сургучом опечатали. В понедельник утром приполз старик Кукин на свой боевой пост, а сторожить нечего.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Чья это ра-ра-ра...?

Ивана Егорыча будто палкой по голове ударили. Глаза вывалил, лысина красная, челюсть дрожит: страшно смотреть.

— Чья это ра-ра-ра..., я спрашиваю?

Тишина в классе напряженная. Как на экзамене.

— Какая рарара, Иван Егорыч?

Староста класса, рыжий Вячик. Вежливо так, ласково, будто с больным.

— Чья это ра-ра-бота?.. — выдавливают Иван Егорыч и тычет указкой в Индийский океан.

Поперек океана матерное слово. Короткое, как выстрел в упор. От Мадагаскара до Австралии через все острова.

— Это не мы... — пугается рыжий Вячик.

— Это не мы... — шелестит класс.

— Борисенко!

— Чего? — вскакивает Витька.

— Где брат?

— Не знаю... Заболел, наверно... Я у тетки ночевал. Честное слово!

«Честное слово» — это он напрасно. Сразу видно, что врет. Но нет на месте Кольки Борисенко, и подумать не на кого. Колька старше других года на три, и среди буйной мелюзги с ее детскими делами и заботами живет нормальной жизнью взрослого мужчины: курит, пьет, гуляет с женщинами. Иван Егорыч уже звонил в военкомат, уже просил забрать Кольку в армию. А как его заберешь? Надо сначала из школы выгнать, а выгонять не за что. Он и учится нормально, и дисциплину не нарушает — повода нету. А вдобавок у Кольки еще и эпилепсия. В детстве под грузовик попал, когда на коньках за машины цеплялся. Как же его в армию брать для защиты рубежей, для укрепления обороноспособности, для устрашения врагов наших, ежели у него в любую минуту припадок может случиться?

— Кто?.. — шепчет Иван Егорыч, взмахивая указкой, и теперь уже кажется, что не его ударили, а он сейчас ударит. — Кто написал?!

И неотвратимость нависает серым, душным облаком, неотвратимость сгущается и становится осязаемой: унижающая неотвратимость наказания.

— Это не я! — кричит с места Саша Антошкин, кричит торопливо и отчаянно, и если взглянуть со стороны, можно подумать, что он дурачится, а он вовсе не дурачится, а просто хочет поскорее освободиться от подозрения. — Честное слово, не я...

Главное, не засмеяться. Засмеялся — пропал. „Ты?!“ — взъерится Иван Егорыч и с хрустом сломает указку. Он всегда их ломает в этот момент, будто физически расправляется с обидчиком. Иди потом доказывай, что это не ты, когда указка уже сломана. Пропади она пропадом — проклятая привычка улыбаться не к

месту, не во время, когда тоской щемит сердце, а рот сам собой растягивается в бессмысленной предательской улыбке. В прошлом году их класс перевели на один урок в биологический кабинет. От перемены обстановки все взбесились. Идиотизм созревания вырвался наружу. Полетели по залу гербарии, запрыгали по столам пыльные чучела, начались стандартные издевательства над несчастным скелетом: какие разные поколения, а над скелетом издеваются одинаково! — и наконец, Костя Хоботков — тихий, примерный Костик — вскочил вдруг на подоконник и с диким воплем швырнул с четвертого этажа банку с заспиртованной лягушкой. Банка разорвалась как бомба. Банка насмерть перепугала старушку с ридикюлем и двух солдат. Началось следствие. Начались вызовы к директору и выяснения виновного. Но Костя молчал, а свои не выдавали. Наконец, классная руководительница поклялась никому не говорить, если виновный сам сознается. Она сказала это проникновенным голосом, она добавила: „Ради нашей дружбы“, она даже обиделась: „Иначе я не смогу вам доверять“, и губы у Кости помимо воли растянулись в виноватой улыбке. „Ты?!“ — удивилась учительница. Он кивнул, она пошла к директору, его на неделю выгнали из школы. Классная руководительница преподавала им русский язык. Это было их счастье. Они бы пропали, если бы она преподавала геометрию. Геометрия начинается с аксиом. Аксиомам надо верить без доказательств. Если бы классная руководительница преподавала геометрию, ее аксиомам с того дня не поверил бы ни один человек, и неизвестно, как бы они доказывали теоремы...

— Ну, ладно... — грозит Иван Егорыч. — После уроков поговорим! — и свертывает в трубку испорченную навеки географическую карту. Непедагогично показывать детям то, что они сами же и написали. А

вокруг школы все заборы исписаны, вокруг школы картинки нарисованы для пояснения, чтобы прохожие не ошиблись, чтобы правильно поняли замыслы авторов. Но забор — это улица, забор — ничья территория, а карта — школьная, карта — пособие для обучения подрастающего поколения, а не средство для пропаганды неприличных слов.

Расстроился Иван Егорыч, даже сердце заныло — в лопатку отдает. Сколько сил положил, сколько нервов истратил, чтобы утихла школа, оправилась от разбойных военных времен, когда три переростка: Долин, Ложкин и Богоявленский, — все трое с «фиксой» — золотой коронкой на зубе, сделанной из консервной банки из-под американской свиной тушенки, — держали в страхе всю школу, и по их знаку сбегалась шпана из окрестных дворов бить неугодного, строптивного, не желавшего подчиниться или делавшего это недостаточно проворно. Это они курили прямо на уроках; это они крали из учительской журналы и переправляли двойки; это они бросали в чернильницы куски карбида, чтобы сорвать контрольную, и чернила падали на пол грязными, пузырястыми хлопьями, жгли на переменах вонючую кинопленку и однажды взорвали в подвале самодельную мину: все это было рассредоточено во времени и только поэтому не производило впечатления стихийного бедствия. Долин — в тюрьме, Ложкин — в ремесленном училище, Богоявленский, светлая голова, — в техникуме. Еще придет однажды, в ножки поклонится, что пожалел его Иван Егорыч, дал семь классов закончить. Сколько он указок поломал за те годы — не счесть, — завхоз не успевал новые делать, — да и теперь в кабинете кучкой лежат, расходуются реже. Образцовая школа, на весь район две таких: Ивана Егорыча и Ивана Степаныча. У Ивана Степаныча школа в самом центре, бывшая гимназия, сама красивая и красивыми

домами окруженная. Это к нему со всей Москвы ответственных детей привозят, и мужчина в штатском у подъезда гуляет. Лихо подкатывают машины, дверцы наперебой хлопают, нарядные мальчики бойко выпрыгивают. Утром мальчиков подвозят, днем мальчиков отвозят: оживление вокруг школы, как у иностранного посольства на дипломатическом приеме, даже милиционер стоит, палкой махает. Прохожие останавливаются, во все глаза смотрят, а самые храбрые только головами качают. Вот уж оно воочию — счастливое детство. Школа Ивана Егорыча — ближе к окраине, в окружении облезлых, с торчащей из-под штукатурки дранкой, деревянных домиков, сарайчиков, заборчиков: то ли сначала она появилась, а потом уж они пристроились вокруг, то ли сначала они, а потом уж она влезла в середину своей серой типовой громадой. А вокруг дворы, тупики, закоулки, фантастические нагромождения нерегулируемых построек со своими щелями и тайниками, где за каждым углом могут встретиться огольцы-ребята. — «Эй, малый, подь-ка сюда...» — и тут уж спасают сообразительность, реакция и быстрота ног...

Иван Егорыч начал рассказывать урок, нехотя, через силу, с отвращением и досадой, — всё опошшила и сделала бессмысленным эта проклятая надпись поперек Индийского океана, — а потом увлекся и отошел, и глаза привычно загорелись за стеклами очков не от увлекательности материала, — давно уж не увлекают его перечисления рек, гор, озер и полезных ископаемых, — а от звуков собственного голоса, как у профессионального оратора. Стоит у доски пожилой мужчина в бостоновом костюме с жилеткой, горбит усталую спину, в который уж раз одинаковыми словами рассказывает детям про страну, где они живут, про ее географические подробности, — разбуди ночью — с любого места продолжит, — а сам много лет из Москвы не выезжал: только на да-

чу, всегда в одно место. Пяток елочек, речка Переплюйка, мусор по обочинам — вот и вся география. Зато от станции близко. Стоит Иван Егорыч, переминается с ноги на ногу, ловит ищущим взглядом внимательный взгляд, — когда говоришь, очень хочется, чтобы кто-то слушал, иначе зачем говорить? — а внизу, на первом этаже, — квартира директора при школе, — лежит его больная жена, которая требует ухода, и дочка у него, легкомысленная девица, тоже требует присмотра, и быт, проклятый быт, отнимает редкие свободные минутки, — стыдно сказать: не то что книгу — газету полистать некогда, — да еще беспрерывно прибегают нянечки, сообщают о происшествиях во второй смене, ждут от директора скорых, решительных мер. А нервы стали никуда, и сердце пошаливает, и сил не хватает подчинять своей воле тысячу человек, потому что учитель с годами стареет, а дети остаются неизменно молодыми. Хоронили этой весной директора соседней школы, говорили речи, плакали, гроб под музыку обносили вокруг школы — «Зачем они играют на похоронах? Только мучают живых», — процессия из учеников и учителей растянулась на километр до Ваганьковского кладбища, и понял Иван Егорыч, что довелось ему, живому, увидеть собственные похороны, весь их торжественно-формальный ритуал, и как ни странно, это успокоило его и утешило.

Снизу, со двора, засвистели условным свистом.

— Жарко чего-то... — громко, на учителя, говорит Витька, приоткрывает окно и заодно выглядывает наружу.

Во дворе под окнами — Колька Борисенко. Колька здорово опоздал, чуть не на два урока. Теперь только в перемену войдешь, когда ребята на улицу выбегут. Но без сумки. С сумкой нянечка не пустит. С сумкой сразу к директору. А к директору Кольке нельзя. Кольке у директора — смерть.

— Давай ремень! — командует Витька и от своей сумки отстегивает, а Костя Хоботков, не понимая, тоже отстегивает. — Давай ремень, — шепчет Витька по рядам. — Давай ремень. Ремень давай!

Зашевелился класс, завозился. Отстегивают ремни, передают под партами, — кто от сумки, кто от брюк, — а Витька связывает, проверяет на прочность, и вид у него сердитый, и шепчет чего-то — брата ругает.

— Вить... — просит Костя. — Не надо. Не надо, Вить... Ремня не хватит.

— Хватит.

— Вить, не надо... Увидят.

— Не увидят.

И связку за окно.

Снизу, со двора, опять засвистели.

— Тяни! — командует Витька и тянет сам, а ремни ползут через подоконник, цепляясь узлами за оконную раму, и вслед за ремнями, к великой радости прохожих, торжественно ползет вверх по школьному фасаду драмая Колькина сумка.

Операция закончена, весь класс боязливо млеет от восторга, один Иван Егорыч ничего не заметил: сам себе рассказывает географию. Вдруг открывается дверь, на пороге завуч — Елена Васильевна.

— Иван Егорыч, — говорит она своим металлическим голосом, от которого плачут первоклашки. — Веду я сейчас урок, и, представьте себе, мимо моего окна поднимают на ремнях сумку. Чтобы зря вас не беспокоить, я поднялась сначала на четвертый этаж, но там заперто. — Она делает эффектную паузу и громогласно объявляет: — Стало быть, это ваши!

Иван Егорыч краснеет, белеет, по-рыбьи разевает рот...

— Ну, погодите... — шепчет Иван Егорыч, и горло перехватывает бессильной спазмой. — Ну, после уроков...

И с хрустом ломает указку.
Тут и звонок. Большая перемена.

2

Большая перемена — буфет.

Срываются с места, несутся по лестницам, выстраиваются у запертой двери, толкаясь и отпихивая друг друга, и наконец, врываются внутрь буфета, где на длинных столах уже стоят тарелки, и в каждой — бублик и карамелька. Суматоха в буфете, шум невообразимый, беготня и давка, как на вокзале при посадке в общий вагон. Наголодавшиеся за войну, еще не забывшие карточки, только начавшие отъедаться: всё для них притягательно. И бублик, и конфета, и винегрет из картошки со свеклой, который продается отдельно, и жареные в масле пирожки с повидлом: с одного бока куснешь — с другого повидло выскакивает. А после школы, если есть деньги, можно сгонять на Арбат, в магазин „Витамины”, купить стеклянный флакончик с кисленькими горошинами — „Прием в сутки одна-две штуки” — и вытряхнуть в рот все сразу. Жить стало лучше, жить стало веселее.

Вернулись ребята из буфета, жуют всухомятку, а Витька Борисенко продает свой бублик. Витька торгуется, Витька деньги выручает, чтобы за кружок заплатить. Организовали в школе кружок, учат ребят бальным, аристократическим танцам, которые пишатся через две черточки. Витька — человек упорный. Решил научиться — и научится. Это имеет для него принципиальное значение, потому что всё, что он ни делает, имеет для него принципиальное значение. И не так уж ему хочется ногами дрыгать, но если танцуют другие, будет танцевать и он. Учительница танцев за голову хватается, когда он, упрямо одеревенелый, в па-де-катре проходит, учительница счита-

ет, что в строю ему маршировать, а не пируэты выписывать, что не научится он никогда и зря деньги переводит. Плохо она знает Витьку Борисенко.

Сидит Витька за партой: голодный, злой, на родного брата сердитый. Уже который год возится он с Колькой-переростком, из класса в класс за уши тянет, от дружков отваживает — мать жалеет. Соберутся дружки, такие же лбы-громилы, и кирпичами во дворе кидаются. Любимая игра — „На кого Бог пошлет“: один подбросит — все разбегаются, и регочут-заливаются, старушек пугают. Или встанут кучкой в воротах, стоят — посвистывают в темноте, мимо пройти страшно. А недосмотришь — смотается Колька на сторону, дома не ночует, в школу черт-те когда приходит, а Витька должен врать-изворачиваться про какую-то тетку, которой у него сроду не было. Жил бы отец, он бы прибрал Кольку к рукам, да нет у них отца: убили на войне, где-то в Австрии, название и не выговоришь. У них отец был дворник, работал до войны у управдома товарища Красикова, жил со своей семьей во дворе, в деревянной пристройке: трое сыновей наводили ужас на окрестное население. Они и теперь там живут: дом раскоряченный, бревнами снаружи подпертый, чтобы стены не выпучило, комната длинная, узкая — пеналом. Вместо отца мать в дворниках ходит. А зарплата у дворника — не разживешься. Вот она и бежит по дому: кому постирать, кому полы помыть, квартиру убрать, ведро помойное с верхнего этажа вынести. Да еще свое хозяйство, свои обалдуи ухода требуют. За день натопчется, набегается, намахается метлой да лопатой: к вечеру ноги колоколами гудят. Попарит горячей водой, покряхтит и спать заваливается. А самой сорока еще нет, еще могла бы жизнь свою устроить, а она вместо того разрешила Кольке до десятого класса учиться, груз на себя приняла, только бы за старшим, за Вовкой, вслед не пошел. Подбили Вовку дружки-при-

ятели, шпана арбатская, ограбил Вовка табачный киоск. Денег не нашел, взял папиросами. Мать до копейки ушлатила, перед следователем ревом ревела, проходу не давала, чтобы не губил парня. Спасибо военкому: уговорил кого надо, забрал Вовку в армию. А Колька — парень хитрый, его голыми руками не возьмешь. Он давно уж смекнул, что учиться лучше, чем работать, и потому учится нормально, на первой парте для маскировки сидит, рядом с отличником. А от отличника и ему кое-что перепадает. Раньше его за уши тащили на первую парту, громилу, переростка, наглую рожу, чтобы на виду был, чтобы глаз с него не спускать, а теперь от стола не отгонишь: поумнел Колька и понял свою выгоду. Если ему понадобится, он и отсюда пакость сотворит, а заподозрить трудно, заподозрить невозможно, когда торчит он перед самым носом, втиснул себя в детскую парту, ноги под столом почти до доски вытянул — учителя спотыкаются, и наглая рожа уже не наглая, а такая она у него от рождения, и не переросток он, а больной эпилепсией мальчик, и не громила вовсе, потому что все громилы во все времена, — каждому известно, — сидели на последних партах: не человек красит место, а место человека. Может, потому и уцелел Колька, и до восьмого класса дошел, что во-время сообразил и во-время пересел вперед.

Рядом с голодным Витькой застенчиво притулился Костя Хоботков: бублик в рот не лезет. Разломать бы надвое и слопать за компанию, но он даже не предлагает: Витька только обидится. У Кости есть деньги и на винегрет, и на пирожок с повидлом, но он не покупает — стесняется друга. Он даже домой к Витьке не заходит, кажется ему, что Витькина мать — дворник — смотрит на него как-то особенно, не по-хорошему: и отец у него не убит, и живут они не в развалюхе, бревнами подпертой, и няня есть, и питаются лучше. У Витьки основная еда — картошка, из жиров

— маргарин, а у Кости — и колбаса бывает, и яички, и сливочное масло. У Кости кровать — Витька спит на полу. У Кости окно на бульвар — у Витьки на помойку. У Кости обновки — у Витьки братановы обноски. У Кости велосипед — у Витьки шиш с маслом. Куда ни ткни: у Кости хорошо, у Витьки плохо. Но Витька не завидует. Витька никому не завидует, потому что на свете существует слишком много людей, кому бы он мог позавидовать. Когда он снег с тротуара сгребает или пыль метет вслед за матерью, Костя его стороной обходит. Стоять рядом — глупо, а взять метлу в руки — стыдно.

Наискосок от Кости жует свой бублик Саша Антошкин, меланхолично жует, без особой радости. Папа у Саши — врач-гинеколог с вывеской, мама у Саши — сверкает драгоценными бриллиантами. А на столе у них плетеная сухарница с печеньем, а скатерть у них камчатная, люстра хрустальная, мебель красного дерева, а в спальне — «птичий глаз». Сидит Антошкин на второй парте за могучей спиной Кольки Борисенко, всякую минуту ожидает от него пакости, и оттого невнимателен на уроках и низкая у него успеваемость. Задергали Антошкина еще в те времена, когда училась в классе знаменитая тройца — Долин, Ложкин и Богоявленский, потому что поддался он им сразу, с первого наскока, и с тех пор поддавался непрерывно. «Полай!» — требовали они, и он лаял. «Поквакай!» — и он квакал и прыгал по-лягушачьи. И только дома он чувствовал себя в безопасности, дома он отдыхал, набирался уважения к самому себе. Но однажды они пришли к нему домой. Они шли по квартире, из комнаты в комнату, руки в карманах, голова втянута в плечи, — шпана шпаной, — озираясь по сторонам и равнодушно, из-под челочек, оглядывая книги, хрусталь и картины, а бедный Антошкин шел следом, искательно улыбался и горько плакал в душе, потому что теперь ему уже некуда было от них спрятаться.

С тех пор они приходили часто, всегда втроем. Антошкина-мама поила их чаем с ванильными сухариками, вела культурные разговоры и очень удивлялась, почему ее сын дружит с этими вульгарными переростками, которых она наверняка бы испугалась, встретив на улице поздно вечером, испугалась бы за свое пальто и за свою честь. Напившись чаю, все трое — Долин, Ложкин и Богоявленский — вежливо благодарили маму, мило улыбались, — золотые коронки из консервных банок хищно вспыхивали в свете хрустальной люстры, — а потом шли в комнату сына, запирались на ключ, закуривали чинарики и по очереди подглядывали в дырочку, специально просверленную в стене, как раздеваются женщины на приеме у гинеколога. Давно уже нет Долина и Ложкина, и Богоявленский этим летом ушел в техникум, но остался Колька Борисенко, и нет-нет, а повернется он, вдруг, когда заезвается учитель, и больно щелкнет Антошкина по носу. Нет сейчас Кольки, бродит где-то голодный, и расслабился Антошкин от постоянной напряженности, и отдыхает, и жует безрадостно свой бублик. Придет Колька — отберет половину.

Кусает бублик староста класса, рыжий Вячик: задумался — никого не видит. Солнце на улице, последние осенние денечки, и камера уже заклеена, и надо доиграть вчерашнюю игру, когда от мощного удара рыжего Вячика мяч попал в забор за воротами и повис, наткнувшись на гвоздь. Полкласса болеет футболом, а рыжий Вячик пуще всех. Неуклюжий, косолапый, бегаёт вперевалку, но в игре злой, резкий и вспыльчивый: и отпихнет, и по ногам заедет, и драться полезет, если отсуживают забитые голы или присуживают пропущенные. Играют во дворах, в тупиках, в закоулках вокруг школы, по много часов подряд, в двое ворот и в одни ворота, голодные, с невыученными уроками: три корнера — пенальти, прокатилось по штанге — гола нет, общий счет двадцать

три — восемнадцать, а наигравшись, бегут домой и гонят по булыжнику Большой Молчановки консервную банку, с криком и грохотом. Живет рыжий Вячик неподалеку от школы, комнатенка крохотная, окно смотрит во двор, на фабрику по разливу вина, и потому неумолчно рычат машины, гикают хмельные грузчики, и даже вахтер в воротах всегда навеселе. Посидишь у окна, насмотришься на нескончаемые грузовики с ящиками — такое ощущение, будто вся округа спивается. Прибежит рыжий Вячик домой, поест, отдышится и выучит наизусть все эти истории, географии да геометрии, а когда вызовут его отвечать, весь класс будет следить по книге и подсказывать пропущенные слова. Отличник рыжий Вячик, и зубрила: всё понимает, всё может объяснить, а зубрит обдуманно — метод у него такой. Наизусть выучишь — ничего не пропустишь. Не пропустишь — не придерутся. Живет он вдвоем с матерью, а отца нет, и неизвестно, где он. Был когда-то отец, и была у него черная машина с шофером — ЗИС-101, и катал он Вячика по московским улицам, а до этого катал по берлинским улицам и по парижским. Но этого Вячик уже не помнит, и не помнит он бессонных ночей тридцать восьмого года, в наркоминделовской гостинице, когда родители всю ночь сидели одетыми и прислушивались к шуму на улице. За полночь, как обычно, подъезжала к дому машина, топали сапоги по длинному, бесконечному от страха коридору — вся гостиница не спала, обречённо прислушивалась к уверенно-наглому топоту, — и они вместе со всеми ждали, что на этот раз сапоги остановятся у их двери: они обязаны были остановиться, чтобы во всем этом ужасе проявилась хоть какая-то логика. Но сапоги так и не остановились ни разу, предпочитая другие двери, и взяли отца тоже не по правилам: однажды он вышел из дома, но на работу не пришел и обратно не вернулся. Живет теперь рыжий Вячик без отца, зимой ходит в школу,

летом ездит в лагерь, поет песни у пионерского костра, а папин портрет, — такой же рыжий, как и сын, — висит над кроватью, под портретом подушечка с орденом Красного Знамени, и все вокруг извещены о том, что отец у него геройски погиб на фронте. Тем летом рассказала мама Вячику всю правду, и единственно о чем попросила, чтобы хорошо учился, чтобы был отличником, потому что боится мама, как бы чего не вышло при поступлении в институт. Сын не обязан отвечать за отца, но институт не обязан отвечать за сына. Вот и зубрит рыжий Вячик от корки до корки: наизусть выучишь — трудно придраться, — и когда вызывают его к доске, скороговоркой демонстрирует свою память, а весь класс следит по книге и подсказывает пропущенные слова. Но если случайно получит четверку, ребята злорадно вопят от восторга, а он, затравленно озираясь, краснеет под цвет волос, и даже уши оттопыренные краснеют. Рыжий Вячик — зубрила несчастный.

Будто на иголках, неумно вертится за партией Толик Степанов. Общественник, член комитета: весь в делах. Скоро будет вечер, посвященный тридцать первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и Толик его готовит, Толик ответственный за связь с женской школой, за игры и аттракционы, за концерт и за танцы. Маленький, шустрый кубик с короткими ручками, шея шире головы, глазки мелкие, точечками — белков не видно, как у плюшевого медведя: все перемены вверх-вниз по лестницам скачет, общественные дела утрясает. Уже давно некогда ему уроки делать, с двойки на тройку перебивается, а подойдут экзамены — он позже всех сдавать идет, к самому концу. Ему ребята уголок на билете загнут, он его тут же выучит, а потом высмотрит на столе, вытянет, отвечает с блеском. А что ему еще делать? Ему учиться недосуг: вся школа на нем. Вот и теперь проглотил бублик —

и бегом, через две ступеньки. Некогда Толику переживать, дел у Толика по горло. Надо согласовать перечень мероприятий, надо утвердить ответственных за вечер, надо проверить репертуар праздничного концерта, а после уроков сбегать в женскую школу, увязать, утрясти, урегулировать: уже не ребенок Толик Степанов, а крупный общественный деятель. Домой вернется поздно, еду заглотает — и к телефону. Обзванивает, предупреждает, напоминает, грозит, — он и грозить научился, — изо рта слова канцелярские сыпятся: оргсектор, культсектор, физсектор, — а папа с мамой, — тоже маленькие, тоже толстенькие, глазки бусинками, — за столом рядком сидят, на сына с уважением смотрят и, похоже, уже побаиваются. Они люди тихие, уравновешенные: врачи-рентгенологи. Привыкли в темноте находиться, внутренности человеческие не спеша разглядывать, и сын был у них тихий, задумчивый — прямая дорога в рентгенологи, но выбрали его в школьный комитет, и преобразился Толик, начал пугать своих родителей. Вот до чего доводит народное доверие неуравновешенные натуры! А придет вечер — ему не до танцев: будет бегать среди танцующих, викторины устраивать, пластинки менять, бдительно следить, чтобы фокстрот и танго не танцевали, а только вальс, па-де-катр и польку (а самые шустрые уже наострились и под вальс — танго, а под польку — фокстрот танцуют), и вместе с ним будет бегать девочка-пигалица из соседней школы, тоже активистка, а вдоль стен встанут учителя, особо выделенные, дежурные на этом вечере. Но сначала, до танцев, доклад, потом самодеятельность: украинский гопак, „Стихи о советском паспорте“, хоровое исполнение песен „Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет“ и „Споем мы, товарищи, песню о самом большом человеке“, — а уж потом танцы. Столько дел, столько вопросов, — пыхтит Толик, глазки оза-

боченные, — единственное спасение — незаменимая в этом деле книга „Игры и развлечения”, неиссякаемый источник групповых и индивидуальных игр на воздухе и в закрытом помещении, из которой можно черпать и черпать: „У какого русского классика три произведения начинаются с буквы О?”, „Какой известный американский писатель большую часть своей жизни был бродягой?”, „Какое произведение отражает воздействие статьи товарища Сталина „Головокружение от успехов” на строительство колхозов?”, „Какое произведение Н. Гоголя оканчивается словами „Скучно жить на этом свете, господа”?”

Медленно и не спеша, уставившись грустными своими глазами в пятно на парте, жует бублик Карл Беркин, — «Карлоны бырл-бырл, а берлоны кырл-кырл», — не переставая, сморкается в застиранный носовой платок. Всегда грустит и всегда сморкается, а глаза такие печальные, будто мамины доходы подсчитывает. Вечно один, вечно в сторонке: меланхолик от рождения, от недостатка витаминов. Иной раз вызовут его к доске, а он стоит и молчит, ждет заслуженной двойки и разрешения сесть на место. Все думают, он не выучил, а ему просто говорить неохота. Сядет на место, сморкнется в платок, загрустит еще сильнее. Папу у Карла убили на фронте, — „Майор Беркин пал смертью храбрых при выполнении боевого задания”, — мама у Карла работает приемщицей в обувной мастерской на улице Герцена, бабушка у Карла умерла в эвакуации в городе Бузулуке, дедушка у Карла безработный раввин. Сколько их нужно, раввинов, на одну синагогу? Максимум один. А дедушка Карла — второй. Их, вторых, человек восемь. Поэтому дедушка работает надомником в артели, клеит коробочки для аптекарских товаров, отвозит приемщику готовую продукцию. Платят за эти коробочки — врагам не пожелаешь, клеить их надо тысячами, а все ж деньги, какая-никакая по-

мощь. Жить-то надо... Карл Беркин придет из школы, — он в футбол не играет, по улицам с ребятами не бегает, — чего-то там пожует безо всякого интереса, а потом уроки делает, или коробочки клеит, а то включит радио, возьмет в руки карандаш, грустно и серьезно дирижирует симфонией, шмыгая носом, кланяется на аплодисменты. Переделает все дела — садится к окну. Очень он любит в окно смотреть, — ни на что, — а о чем думает при этом — неизвестно. „Карл, — скажет дедушка и взглянет на внука красными, слезящимися глазами, а в глазах — коробочки, коробочки, коробочки... — Почему бы тебе, Карл, не пойти на улицу, не подышать свежим воздухом?“ „Зачем? — резонно отвечает Карл. — Что тут, что там — воздух один“.

А рядом с Карлом Беркиным сидит Вовка Тимофеев, пузатый, откормленный вундеркинд: семи лет во второй класс пошел. Взбрыкнет жеребеночком и бежит по коридору — школа вздрагивает. Налетит, начнет тискать — ребра трещат, а то еще наступит на ногу, наступит и стоит: морда щенячья, рот до ушей. Когда в футбол играют, Вовку в защиту ставят, чтобы противник пугался. У него одного во всем классе бутсы футбольные с шипами. Против его шипов никто играть не хочет. Вовка — парень артельный. Куда все, туда и он. Лишь бы с шумом, с треском, с грохотом. Он в школу, как на праздник идет. Сто лет бы учился — не надоело. Сидит Вовка на своем месте, пузом парту распирает, два бублика ест. Один свой, другой купленный. Он большой, Вовка, ему много еды надо. Он и на уроках ест, из дома пакет приносит. У него родители домовитые, хозяйственные. Мама больная, ноги — тумбы, ни в одну обувь не влезают. Она из дома не выходит: стирает, штопает, обед готовит, а папа с утра на репетицию бежит, а после репетиции на рынок, в магазины, по очередям, по давкам: не побегаешь — не поймаешь, не постоишь — не по-

лучишь. Прибежит домой, пообедает, кофе глотнет, и на спектакль — перевоплощаться. Такая гонка весь день — не мудрено роли перепутать. Но папа пока не путает. Держится. Когда у Вовки день рождения, полкласса сидит у них за столом, чай пьют с пирогами. Лучше его матери никто пироги не печет. Теперь под праздники стали продавать муку, и они всей семьей в очередь становятся, — даже мама на больных ногах стоит, — да по многу раз, да папа еще в другое место сбегает и там очередь займет — только успевай авоськи с пакетами оттаскивать. Весь город в этот день ходуном ходит, — стосковались люди по печеному, — а до следующего праздника нигде муки не купишь. Ребята корочкой румяной хрустят, а мама смотрит на них и сияет, — очень любит мама, когда вокруг нее едят, получает несказанное удовольствие, — и каждый раз рассказывает ребятам про своего Вовочку-вундеркинда, каким он рос разумным да сообразительным. „Мама, а где я раньше был?“ „У меня в животике“. „Хорошенькое дело... Значит, когда ты ела, все мне на голову валилось?“ А папа у Вовки выпьет графинчик домашней настоечки, захмелеет, дикцию демонстрирует: „Скетч, скука, скрупулезный, сексуальный...“ Или хвастаться начнет: „Мы, артисты, народ эмоциональный. Нам за это деньги платят“. Приглашают папу на радио — передачи·вести, на мультфильмы — зябликов и сусликов озвучивать. Он идет с охотой, на пироги подрабатывает. У Вовки — чтоб не сглазить — аппетит завидный: что ни заработают — все подмолотит.

А позади Вовки Тимофеева на самой последней парте восседает в царственном одиночестве Леонард Вахмистров, он же Тит, он же Карп, он же Герасим и Ерофей. Придет утром и табличку вывешивает, как его сегодня величать, а на другое имя не откликается. Он и дома вывешивает, мстит родителям за свое диковинное имя.

Живет Леонард рядом со школой, дверь в дверь, просыпается с первым звонком и к третьему звонку на минуту опаздывает. Сколько лет учится, столько и опаздывает. Сначала боролись с ним в стенгазетах и другими мерами, а теперь смирились и не трогают. Сидит Леонард в одиночестве позади всех, царь царей, король королей, повелитель государства петиханского, рисует на всех уроках сцены из жизни своих подданных, раскладывает картинки по парте. В футбол Леонард играет редко, — у него свои заботы, петиханские, — и притом только в защите. У него ноги длинные. Он ими нападающим мешает, мяч из-под ног выковыривает. Ест Леонард торопливо, небрежно: крошки на парту сыпятся. Он и рисует также: стиль у него такой — небрежный. У них дома все набросано, навалено, одежда на стульях висит, посуда со стола не убирается. Кому надо работать, тот на край ее сдвинет, клеенку вытрет и работает. У него мать с отцом лекции читают по атеизму, юриспруденции, воспитанию молодежи. „О том, — издевается Леонард, — как юноша Н. полюбил девушку М., и что из этого вышло, с демонстрацией цветных диапозитивов”. Раньше, до войны, приходили к ним гости, до глубокой ночи спорили, ссорились, с пеной у рта доказывали истины, обкуривали маленького Леонарда, пока у него не закрывались глаза и он не падал со стула. Не квартира была — клуб, а теперь это разве можно? Теперь один у нас клуб — при домоуправлении. И гости уже не приходят, — одни по своей воле, другие по чужой, — а если приходят, то не спорят больше и не доказывают истины, а пьют чай и едят торт. Время такое: все ясно. Даже на лекциях у отца с матерью: „Вопросы есть?” Вопросов, как правило, нет. Они много выступают, часто выезжают в область, и тогда Леонард блаженствует. Покупает себе колбасы, сыра, чай с конфетами гоняет. У них дома где попало деньги валяются. Получку принесут и на буфет, или на

стол, или на подоконник складывают. А когда надо, ходят по комнате, деньги ищут. Очень нравится Леонарду жизнь такая — развеселая.

А справа от Леонарда, тоже на последней парте, горбятся два радиста Светлишин и Губарев: одинаково неуклюжие, одинаково костистые, большие мослатые руки в ожогах от паяльника. В своем умении дошли уже до того, что пальцем напряжение проверяют: сильнее ударит — двести двадцать, слабее — сто двадцать семь. Сидят, схемы рисуют, презирают весь класс, а иногда, вдруг, засмеются громко, деревянным смехом, и все вздрагивают и оглядываются назад, а смеются они по поводу им одним понятной ошибки в схеме приемника — этакий радиоюмор. Жуют радисты, скулы под кожей шатунами ходят. У них отцы — механики, у них матери — в магазине, в штучном отделе: „Деньги получает продавец”. Ничего живут, сносно: матери стараются. Сидят радисты по вечерам дома, как привязанные, сидят — паяют. Голая комната, покрашенная синей масляной краской. Яркая лампа на шнуре без абажура. Стол, заваленный радиохламом. Надвигается век электроники.

А через парту перед радистами — Рэм Сорокин: „Рэм через „э” обратное” — шутка при знакомстве с девочками. Студень, кисель, желе, проныра и ловелас. Личико узенькое, подвижное, как у обезьянки, глазки шустрые, блестящие, лобик морщинками, руки вечно шевелятся, места себе не находят. Жует Рэм — весь содрогаются. У него отца нет, одна мать работает. Дома бедным-бедно, только-только на прокорм хватает, а из излишеств — бурый гриб в банке под марлей: пей — хоть залейся — кисленькую воду. Это у Рэма в тетради нашел директор снимок мужчины и женщины в такой омерзительной позе, что, ругая Сорокина, он даже не решился объяснить, за что его ругает. Было бы Рэму плохо, да он — шустрый малый — купил пачку „Дели”, выкурил всю

подряд — и к врачу: горло красное, воспаленное — катар верхних дыхательных путей. Пересидел дома опасное время.

А перед Рэмом Сорокиным — Леша Костиков, морячок с Дальнего Востока: маленький-маленький, совсем маленький мальчик, будто из четвертого, от силы — пятого класса. Глаз у Лешки прищурен, чубчик набок, походка вразвалочку. На школьные вечера приходит надраенный, отутюженный, как на приморский бульвар, и танцует серьезно, будто работает. Если что не так, тянет руки к широкому ремню с пряжкой, расстегивает его для драки. Папа у Лешки — капитан дальнего плавания. Мама у Лешки — заграничные вещи надевает. Сам Леша даже ананас ел. Два раза. А ананас — это такая штука, не каждый и знает, на что она похожа. Какой уж там ананас — картошки, и той не хватает.

Жует восьмой „А”, двигают скулами ребята, в старых, перелицованных пиджачках и брючках черных и серых тонов, в сатиновых шароварах с резинками, в курточках на молниях, вместо портфелей — с полевыми сумками: кожаными, брезентовыми, дермантиновыми; жуют другие классы, жует вся школа, и потому почти не бегают, не дерутся, не елозят пыльными штанами по крашеному паркету. Большая перемена — самая спокойная. Тихая перемена, задумчивая...

3

Война застала их на даче в Томилине. Ленивым воскресным утром Сергей Сергеевич Хоботков шел с Костиком на мелководную речку пускать бумажные кораблики, и около поселкового магазина они увидели толпу. На кривом, сучковатом, небрежно обтесанном столбе прибитый ржавым, наполовину скрученным гвоздем висел новенький, блестящий громкоговори-

тель, и люди, задрав головы кверху, слушали Молотова. Они тоже встали и прослушали всё обращение, непривычное по интонациям, непохожее на торжественные речи прошлых лет, и не смысл обращения, а именно интонации убедили в том, что пришла беда. «Папа, — напомнил Костик, — а кораблики?» Но Сергей Сергеевич уже не ответил. Заиграла бодрая музыка, мужики полезли в карманы за спасительным куревом. Во время налетов немцы бросали осветительные ракеты на парашютах, землю заливало мертвым, пугающим светом, и при полной видимости, методично и неторопливо они кидали бомбы по трубе ткацкой фабрики, — труба — это, наверняка, объект, — сыпали зажигалки. Но уже вырыли в лесу тесные щели, наспех и неумело, укрыли сверху бревнами, завалили землей, и по ночам хозяева и дачники сидели, скорчившись, друг против друга, упирались коленками в коленки. Чадила в углу керосиновая лампа, брат Лека у входа в щель следил за перекрестьем прожекторов, отчаянно кричал: „Летит!“, и однажды от близкого разрыва бомбы лампа перевернулась, потухла, облила Костика керосином. Жуткий мрак, едкий запах, крики, визги, толкотня у выхода, прикосновение к лицу холодной, сырой глины... Днем ребята бегали в дальний лес поглазеть на обгорелое крыло самолета с крестом, подбирали длинные, со страшными зазубринами, осколки от бомб и корпуса от сгоревших зажигалок, и подозрительно присматривались ко всем незнакомым людям, потому что где-то, — ходили упорные слухи, — поймали шпиона с парашютом. В конце июля они вернулись с дачи в Москву, и теперь сидели по ночам в подвале дома, за толстенной, как у сейфа, дверью, прислушивались к посторонним звукам, испуганно вздрагивали от близких и дальних разрывов, а на углу улицы Воровского прямым по-

паданием уже завалило бомбоубежище, а на Никитской взрывной волной сбросило с постамента Тимирязева, а на Арбате с вечера выстраивались очереди у метро, и тысячи людей спали в туннелях прямо на рельсах, подложив под головы заветные чемоданчики, пока диктор не объявлял: «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!», и уже ходил из уст в уста любимый анекдот про мальчика, который больше всего на свете любит маму, папу и отбой. Они уехали из дома шестнадцатого октября сорок первого года, в самый страшный для Москвы день, когда в городе была паника, на вокзалах творилось несусветное, и отчаянные толпы штурмом брали поезда. По пустынно-торопливым улицам они проехали на Курский вокзал, ночью погрузились в вагоны, как попало сбросали вещи, лезли в темные купе по гудам перепутанных чемоданов, матери судорожно прижимали к себе детей, а по проходу с истощенным воплем истерически металась обезумевшая женщина в безуспешных поисках потерявшегося ребенка. Потом поезд медленно, без толчка, отошел от перрона, и в навалившейся тишине прощания стала слышна далекая артиллерийская канонада до ужаса близкого фронта. Так они долго, невыносимо долго ехали до самого Урала, — месяц без нескольких дней, — сутками торчали на разъездах, а рядом стояли эшелоны беженцев с Украины и Белоруссии: без вещей, без теплой одежды, сорванные с места внезапно и поспешно, ошеломленные и растерянные, будто разбуженные грубым толчком от сладкого сна. На остановках они разводили костер, варили пшеничный концентрат, но свистел паровоз, и недоваренная каша ехала до следующего разъезда, — требовалось иногда несколько остановок, чтобы она сварилась, — и один раз брат Лека целый перегон вез на подножке закипающий самовар, потому что жалко было тушить и выливать

воду. Они приехали в маленький городишко на Урале, где была одна школа, одна парикмахерская, одна баня и один кинотеатр в нетопленной церкви. Фильмы шли дольше обыкновенного, непрерывно рвалась ветхая пленка, и на детских сеансах ребята не выдерживали — время и холод в зале брали свое, — и в темноте по наклонному полу весело бежали к экрану подозрительные ручейки. Лёка с Костиком сразу пошли в школу, и зимой, в снежные заносы, когда сугробы не давали открыть калитку, брели в полном мраке, гуськом, след в след — несчастные, затерянные во вьюжном водовороте горожане, — и первый фонарь на их пути был у горсовета. Сначала можно было жить: был хлеб, было мясо и молоко, неизбалованные мануфактурой местные жители давали за перелицованные детские штанишки пару мешков картошки. Их хозяйка варила супы — ложка стояла в чугунке, и четыре девочки-погодки садились рядом на лавку хлебать из огромной миски: суп, потом молоко с хлебом, а после еды с набитым пузом, кряхтя, залезали на полаты и сонно глядели оттуда. Потом эвакуированные проели лишние вещи, и с едой стало туго, по карточкам выдавали только хлеб: двести граммов на работающего и по сто пятьдесят граммов на иждивенца, и как-то раз в бесконечной очереди за хлебом, в сорокаградусный мороз, Костя отморозил ухо, оно раздулось, стало огромное, как у свиньи, и из него на подушку всю ночь капала вода. Ребята — вечно голодные — таскали с вокзала кормовую морковь, огромную и безвкусную, и тетки-охранницы сурово, для острастки, лязгали в ночи пустыми затворами; крали из горсоветовской конюшни, прямо из-под носа у лошадей, жмых, сосали его, размачивали и глотали, а взрослые запаривали большие, толстые куски и делали из него лепешки. Говорили, что вреден этот жмых, — верный аппендицит и заболевания легких от каких-то опасных волокон, — но ели его многие и на

рынке продавали, скорее всего ворованный, потому что предназначался жмых исключительно на корм лошадям и выдавался только для них. Ранней весной, когда сходил с полей снег, Лека с Костиком шли выкапывать из набухшей глины позабытую с осени, перезимовавшую в земле картошку: чистый крахмал, болтавшийся в кожуре, как в мешочке, а летом, на собственном огороде, выкапывали ее мелкой, не могли утерпеть, пока вырастет. И чуть не каждый вечер Костя ныл перед сном: „Исть хочу! Исть...”, совсем как хозяйские дочки, а брат Лека бил его по затылку и свирепо орал: „Где мы тебе возьмем, черт? Ну, где?!..” А потом в их городишко привезли блокадных из Ленинграда. Они тенью бродили по улицам, часами, в бессильной, сидячей очереди ждали открытия столовой, где кроме обычного для всех хлебного пайка им давали еще УДП, усиленное дополнительное питание, „умрешь днем позже”: суп из соленых помидоров, ложка водянистой каши, мочегонный чай с сахарином. После еды блокадные становились кучкой у окошка раздатчицы, пристально глядели внутрь, нюхали слабые, ненаваристые запахи, — молча, терпеливо, без просьб и уговоров, пока раздатчица в слезливой истерике не захлопывала окошко, — а потом шли на рынок, становились кучкой, жадно рассматривали выставленное там великолепие: лепешки из жмыха, лепешки из травы с отрубями, лепешки из картофельных очисток, черные, комковатые лепешки неизвестно из чего. Было плохо всем: и местным, и приезжим, и однажды с парикмахершей случился на работе голодный обморок, и Косте пришлось ждать с подстриженной, как у каторжника, половиной головы, пока не пришла сменщица. Вот в это самое время и забрали в армию брата Леку, и отправили в артиллерийское училище: семнадцати лет, из десятого класса — немцы стояли под Сталинградом. Когда они вернулись домой, в свою квартиру, на родной бульвар,

Лека был уже на фронте и прислал фото: тонкая, незащищенная шея в широком вороте гимнастерки, худое, решительное лицо обиженного подростка. Мама часто плакала по темным углам и ежедневно писала ему письма, с обязательной припиской от няни: скоро ли Лека вернется с войны, скоро ли купит обещанную ей избушку. Лека отвечал редко и коротко: „Жив, здоров, избушка за мной”. Большого от него и не требовалось, лишь бы регулярно приходили конверты со штампом: „Просмотрено военной цензурой”, „Красноармейское письмо. Бесплатно”. Некогда было Леке письма расписывать: воевал Лека с фашистами. Сергей Сергеевич, отец Костика, отвоевался в конце сорок четвертого. Всю войну сапером прошел, в госпиталях власть наваялся. Три форсированные реки — три ранения — два ордена. Приехал — бегом бежал с Белорусского вокзала, не мог дождаться, пока метро пойдет. Он открыл копеечкой парадную дверь, ворвался в комнату, когда все еще спали, и не раздеваясь, с вещмешком за плечами, начал бегать, задыхаясь, вокруг стола, а они глядели на него и плакали: мама на диване, няня на раскладушке, а Костя в своей старой кроватке, из которой торчали наружу его ноги. Отвоевался Сергей Сергеевич, пошел работать, с трудом начал вращаться в неторопливую мирную жизнь. Пришел из армии дядя Паша, Нинкин отец. Всю войну крутился где-то под Москвой, в спецчастях: появлялся в квартире, исчезал, опять появлялся. Две звездочки — лейтенант. Свой «Виллис», с шофером. Раз приехал — мешок с горохом забросил. Другой раз — трофейный ковер. Потом — аккордеон. Вернулись из деревни тетя Шура с Нинкой, а ковер моль прогрызла, а аккордеон у батареи разохся, а мешок с горохом обмяк, одна шелуха в нем. Горох мыши съели, все горошинки, до одной, выбрали. Бестолковый дядя Паша: при добре был, а добром не попользовался. Воевал Экштат Семен Михайлович. Сбрили ему шевелюру, одели сти-

раную форму, ботинки с обмотками. Когда прощаться пришел, вся квартира охнула, все женщины в голос заревели: тоненькие ноги в неумелых обмотках, сутулая спина под белесой гимнастеркой, из-под низкого воротника кадык выпирает, на маленькой обритой голове пилотка по уши. Был поэт, композитор, ребе, а теперь не красноармеец, не боец — солдатик. Всю войну с полевым госпиталем прошел, лекарства для раненых готовил. Лопатин Николай Васильевич тоже воевал. Начал с ополчения, со взвода интеллигентов — банковских работников. Их собрали, построили — только солнце в пенсне засверкало. „Шагом марш!“ — они и пошли. „Запевай!“ — они и запели. „Мадам, у-же па-да-ют лис-тья... Раз-два!“ Оружия ни у кого не было. Даже у командира полка ополчения висела на ремне пустая кобура, а в руке железный прут. „Что же мы, — говорил командир, размахивая прутом, — не достанем оружия у немцев? В первом же бою достанем!“ В первом же бою на них пошли Гудериановские танки, и чуть не весь полк poleg на месте. Много еще чего было за войну по дороге до Кенигсберга. Вышел из Москвы Лопатин Николай Васильевич — тихий банковский служащий, а закончил войну — орден на груди и набор медалей. И дядя Пуд воевал. На складе, на своем боевом посту. В первые же налеты разбомбил германец дядю Пуда, разбомбил вместе со складом. Загорелась крыша, жарким, дымным пламенем полыхнула толь. Волоком тащил ящики с гвоздями, с дверными петлями, большой живот мешался в тесных проходах. Надорвался дядя Пуд, неделю покряхтел на лежанке и помер. Отпевали его в церкви, поставили над могилой крест из водопроводных труб, с узорами из проволоки, покрашенный масляной краской, — мужички на кладбище крестами промышляли, — и написали на табличке „Ерофей Косьмич Степин. 1872-1941“. Ерофей

Косьмич — это и есть дядя Пуд. Умер он — тетя Мотя одна осталась. Занавесила окно черной бумагой, еще икон понаставила: келья, как есть келья, и духа мужского нету. В налеты не спускалась в бомбоубежище, а становилась на колени и Богу молилась — бомбы от дома отводила. «Это Бог вас спас, — говорила с важностью. — Услыхал мои молитвы». Вся квартира воевала, весь дом, своей молодостью, своими морщинами, голодом и холодом своим, горем и печалью. В шестой квартире — Герой Советского Союза. В третьей — слепой. В четвертой — без рук, без ног: инвалид беспомощный. В первой, в пятой, в восьмой — похоронные, похоронные, похоронные... Кто погиб, кто пропал без вести. У них — Ренат Ямалутдинов. Ушел Ренат на войну в первый день. Последний раз дотронулся до Самарьи, — он засветился, она засветилась, — и ушел. И исчез. Ни письма, ни известия. Пропал человек, будто его никогда и не было. Будто не жил на свете казанский татарин Ренат Ямалутдинов, не работал днем, не учился вечером, не любил ночью жену свою Самарью. Осталась после него вдова — шемаханская царица. А потом пришел день Победы. Радостный, счастливый, с оглушительным салютом. Многие плакали в этот день: по погибшим, по искалеченным, по самим себе. И Вера Гавриловна тоже плакала, целый день, потому что от Лёки давно не было известий. И прошла неделя мирной жизни, и прошел месяц, а известий всё не было, и война не уходила из их квартиры, и день Победы для них не наступал. И пришла, наконец, по почте скромная, стандартная бумага, где черным по белому было написано, что сын их Лёка, добывая ненавистных фашистов, сложил голову в проклятой Германии, похоронен в братской могиле, и вечная ему за то память. Погиб Лёка, погиб человек, который еще в детские годы знал такое число, до которого сто лет считать надо. Ты не досчитаешь — дети досчитают. Дети не

досчитают — внукам останется. Погиб Лёка — и счет на этом оборвался. Погиб Лёка — и война кончилась.

4

Третий урок — немецкий.

Точно по звонку появляется Ольга Матвеевна, пышная, черноволосая, с кудряшками от перманента. Бровки черненькие, щечки аленькие, формы-мячики во все стороны. Год как из института, месяц как замужем: цветет женщина от полноты жизни.

— Ну, хулиганы, чего натворили?

На Ольгу Матвеевну приятно посмотреть. Ольгу Матвеевну любит весь класс. Даже Карл Беркин не сморкается у нее на уроках, терпит до перемены. Даже радисты, глядя на нее, смутно начинают угадывать, что на свете существуют не одни радиосхемы. Толик Степанов забывает про общественные дела, Леонард Вахмистров — про петиханское государство, а о Кольке Борисенко и говорить нечего. Неотрывно смотрит на нее с первой парты, завораживает неотразимым взглядом, ноги подальше вытягивает, чтобы спотыкалась об них любимая учительница. Когда Ольга Матвеевна замуж вышла, всеобщее уныние наступило. Муж — летчик, герой войны. Одно это и утешило.

— Что, хулиганы, с директором сделали? Быстро сознавайтесь.

— Ничего... — радостно галдят хулиганы. — Ничего мы не сделали...

— А с чего это он после вас валерианку пил?

Колька ноги свои подальше вытянул, зубом поцыкал и ласково так, двусмысленно говорит:

— Мы после вас тоже пьем...

Ольга Матвеевна вспыхнула, как маков цвет, и за журнал:

— Пойдет к доске...

Будет сейчас спрашивать, задавать хитрые вопросы, строгие отметки ставить. Достанет ручку-вставочку, обмакнет в чернильницу на первой парте, с удовольствием выведет в журнале аккуратную цифру круглым, детским почерком. Ольга Матвеевна с первого класса и до последнего курса была отличница, активистка, примерная ученица, удовлетворенная своим поведением и своими знаниями: гордость мамы, папы и общественных организаций. Она и в жизни такая же примерная и удовлетворенная, а жизнь ее за это награждает. Ребята ее любят, учителя уважают, муж у нее герой.

— Пойдет к доске Борисенко Николай.

Колька привстал, ойкнул, утробно взвыл и пополз, оседая, под парту. Завалился, ноги в проходе разбросал, руками за стол цепляется, воет потихоньку, на одной ноте. Эпилепсия. Внезапный приступ. Бьется Колька головой о перекладину, пена изо рта идет. Немножко, правда, но идет.

— Ой, да что же это... — бледнеет Ольга Матвеевна, и к доске отодвигается, а Колька, детина здоровенный, всё место под столом занял, глаза закатил, снизу вверх нескромно на учительницу поглядывает, судорожно хватая ее за полные ноги. Он больной. Ему всё можно.

Прибегает врачаха, сует под нос ватку с нашатырем, надрываясь, выволакивает Кольку из-под стола, тащит к себе в кабинет. Теперь он до конца урока не придет, а может, и до конца занятий. Это уж как чувствовать себя будет. Обычно он плохо себя чувствует, обычно после приступа домой уходит. Дня на два, а то и на три.

Ольга Матвеевна больше никого не спрашивает, не решается, а объясняет следующую тему. Упруго ходит по классу, каблучками постукивает, молодое тело свое ощущает. Глаза повеселели, кудряшками

трясет, немецкие слова орешками изо рта выскакивают. И ребята тоже повеселели. Действует на них ее молодость, привлекательность, полнота жизни. И только Костю что-то держит, не дает раскрыться. Может, внешнее сходство: деловитые каблучки, перманент, привлекательность той, давнишней пионервожатой, которая пришла к ним однажды в класс и велела всем стать тимуровцами. Костя не помнит теперь, кому что поручили, но лично он колол дрова семье погибшего воина. «Ты понимаешь всю важность поставленной перед тобой задачи?» — и вожатая посмотрела ему прямо в глаза. «Понимаю», — похолодев, ответил он. «Всю важность?» — «Всю важность». Он колол дрова целую неделю. Каждый день после уроков. Он приходил к семье погибшего воина, ему выдавали топор, и он колол. Очень трудно было заставить топор войти в дерево. А когда он туда входил, еще труднее было вытащить его. Но Костя не сдавался. Он понимал всю важность поставленной перед ним задачи. И вдруг, оказалось, что никакой важности нет. Его вызвали в учительскую и спросили, чем он занимается после уроков. Других тимуровцев тоже вызвали и тоже спросили. Костя не помнит теперь, что было у других, но лично он колол дрова не для семьи погибшего воина, а для матери их вожатой. Ей бы сказать ему откровенно, ей бы попросить по-хорошему, он бы и для матери наколол. И нечего было смотреть прямо в глаза. И нечего было пугать поставленными задачами. Существует два способа разрушить Карфаген: один — сразу, другой — по кусочкам. Результат один и тот же.

Тут Лёша Костиков вдруг просиял и говорит на весь класс:

— Сказочку...

— Сказочку... — шумят ребята. — Сказочку...

Расскажите сказочку!

Ольга Матвеевна улыбается. Довольна Ольга

Матвеевна. Когда заскучает класс, когда затоскует и начнет отвлекаться, рассказывает она сказочку, веселит ребят, а потом обратно к немецкому возвращается, к тоскливой грамматике, которую жуют уже не первый год: «Ганс идет в школу», «Идет ли Ганс в школу?», «Ганс в школу не идет».

— Сказочку! — ноет класс. — Сказочку!..

Сдвинулись парты и поползли. Ползет староста класса рыжий Вячик, толкает своей партой учительский стол. Ползет Лёша Костиков, морячок, отсекает немку от двери. Ползет член комитета комсомола Толик Степанов. Ползут радисты, Леонард Вахмистров, ползет Рэм Сорокин, хихикая и потирая потные руки, а Вовка Тимофеев от нетерпения выполз со своей партой в проход и ползет боком, быстрее всех, а рядом с ним на той же парте не ползет, но едет Карл Беркин, являя учителю свой печальный иудейский профиль.

— Сказочку! — стонет класс. — Сказочку!..

Ольга Матвеевна раскраснелась. Ольгу Матвеевну к доске прижимают.

— Тихо! — просит она и палец к губам прикладывает. — После сказки сразу обратно.

— Тихо! — грозно повторяет Витька Борисенко. — После сказки — обратно.

— В некотором царстве, в некотором государстве, за семью горами, за семью долами жил-был царь и была у него...

— Дочка... — подсказывает рыжий Вячик.

— Правильно. И была у него дочка. Однажды зовет ее царь к себе...

Открывается дверь, на пороге завуч Елена Васильевна. За ней — Колька Борисенко. Лежал у врача в кабинете, закурил сдуру папироску — она его по запаху и застучала.

— Что такое? — говорит Елена Васильевна своим металлическим голосом, от которого плачут перво-

кляшки. — Что здесь происходит?

Молчит Ольга Матвеевна, прижатая партами, молчат ребята.

— Ольга Матвеевна, голубушка, что они с вами делают?

— Ничего... — шепчет Ольга Матвеевна, а у самой лицо пятнами пошло. — Пропустите меня.

Парта отъехала, она — в дверь.

— Так! — говорит завуч. — Ну, погодите, хулиганы... Я вам покажу, как над учителем издеваться. После уроков останется весь класс!

— И я? — невинно спрашивает Колька.

— И ты.

Елена Васильевна хлопает дверью, и ребята тихо ползут обратно на прежние места.

— Ну, — говорит Колька, — сознавайтесь, хулиганы... Чего с немкой хотели делать?

Молчат хулиганы, отворачиваются. Опять Колька, скотина везучая, выкрутился. Опять его вина в тысячи раз меньше их вины. На его довольную рожу взглянешь и вдвойне тошно становится.

— Из-за таких, как вы, — ухмыляется Колька, — страдают невинные.

И важно садится за учительский стол.

Витька вскочил, бледный, злой, губу закусил — и на брата. Тот руки вперед выставил — защищается.

— Ну, чего... Чего ты?

На Витьку раз посмотришь и уже видно: может ударить. На Костю сколько ни смотри, сколько его ни разглядывай, нет в нем этого свойства, — нет и, наверно, не будет, — а в Витьке оно есть. Это чувствуется сразу, с первого взгляда, будто знак какой на лице, и с Витькой не связываются. Потому что Витька может ударить. В любую минуту. И справиться с ним нет никакой возможности. В футбол Витька играет только в нападении — характер такой, — а Костя предпочитает стоять в воротах. Это у него неплохо

получается, а то, что получается, он любит больше того, что не получается. Но нет в нем спортивной злости, а в Витьке она есть, в нем этой злости на троих хватит, и игра для него — это не игра, а способ доказать свое преимущество с большим счетом. Если бы он мог, не только Костю — всю команду в ворота поставил, чтобы не путались под ногами. Витька пробегает за игру столько же, сколько все остальные вместе, а после игры садится на штангу — кирпич, осунувшийся, с прилипшими ко лбу редкими волосами, и слова не может вымолвить.

— Ты!.. — ярится Витька, и ближе к брату подступает, кулаки готовит. — Чего придуриваешься?

А с Кольки — как с гуся вода. Колька — взрослый человек, он по закону жениться может, и отчитываться не обязан. Ему эта учеба — постольку-поскольку, лишь бы не работать. Есть у Кольки заветная мечта: пойти в «топтуны». Бродит возле их дома «топтун», сытый, прилично обмундированный, весь день на свежем воздухе. На машине его привозят, на машине отвозят. Встанет машина в сторонке — в ней «топтунов» навалом, — он из нее незаметно выйдет и по своему тротуару прогуливается. А на той стороне улицы его близнец ходит: не догадаются там, где надо, их одежду разнообразить. А может, и не нужно разнообразить, может, делается это специально. Отгулял свои часы, сменился — иди домой, отдыхай. А дел-то всего: следить за участком, чтобы беспорядков не было, чтобы чего не случилось на бульваре. Бульвар — правительственная трасса. Иной раз, — редко-редко, — машины гуськом идут: на Арбат, а оттуда в Дорогомилово, на дачи. Кого везут — неизвестно, а охранять надо. И потому на правительственной трассе все чердаки опечатаны — белье сушить негде, все проходные дворы перекрыты — обходить кругом приходится, чтобы не спрятался кто, не совершил диверсию, не убежал

от погони. Костя с Витькой пробрались раз на чердак, — Витька подговорил, он и провел одному ему известным путем, — оттуда на крышу: лежали, загорали, плевали вниз, пока их не засекали. Прибежал бледный, перепуганный насмерть управдом товарищ Красиков, — даже ругаться не мог, так горло перехватило, — и Христом-Богом, ради малых деточек, умолял открыть путь, которым они прошли на крышу, когда двери на все чердаки давно уже опечатаны и замки понавешаны в присутствии милиционера. Витька соврал ему, — глазом не моргнул, — что влезали они по пожарной лестнице, и запуганный, заинструментированный товарищ Красиков охотно в это поверил, хоть и прекрасно знал, что пожарная лестница начинается со второго этажа и влезть на нее нет никакой возможности. Очень уж он хотел верить, что нету других лазеек, потому что сам это когда-то удостоверил и скрепил своей подписью. Хорошо еще, что „топтун” их не заметил, а то бы не миновать скандала и расследования. Этот „топтун” стоит у их подъезда не первый месяц. Колька мимо идет — всегда здороваается, а тот отворачивается и глаза прячет. Ему, видно, по инструкции полагается быть незаметным. А куда денешься, когда ты весь день на виду? Никуда не денешься. Если бы Колька знал, где учат на „топтунов”, давно бы туда пошел. Спрашивал у того, а он не отвечает — стесняется.

Братья отношения выясняют, а ребята в сторону отошли. Знают хорошо, что Колька брата не тронет, а пойдет на других злобу срывать. Саша Антошкин по этой причине давно уже на другом этаже гуляет. Один Карл Беркин стоит рядом, задумался, смотрит — не видит, носом хлюпает.

— Ну, чего тебе? — щерится Колька на свидетеля. — Карлоны бырл-бырл, а берлоны кырл-кырл...

Карл Беркин перевел на него грустные свои глаза, подумал-подумал, ничего не придумал.

— Иди, — советует Витька. — Проваливай.

Карл высморкался и пошел. Тут набегает на него Вовка Тимофеев, недоросток-переросток, взбрыкивает полной, упитанной попой, заваливает на пол. На Вовку кидается Костиков, Сорокин, кто попало... Куча мала. Сверху снисходительно и небрежно укладывается Колька Борисенко, давит мелюзгу могучим телом, а внизу лежит грустный Карл Беркин, шмыгает носом, ждет, когда с него слезут, а пока, чтобы не терять времени, думает-размышляет о чем-то своем. Кругом бегают, дерутся, толкаются, стреляют из рогаток-резиночек проволочными пульками, плюются жеваной бумагой через ручки-вставочки: ад кромешный. Школа, вообще-то, принадлежит учителям, но по переменам ею владеют ученики. Учителя пробираются, проскакивают, прошмыгивают вдоль стенок в учительскую, где можно отсидеться, куда приглушенно доносится шум и рев толпы, — а если заткнуть уши, то почти и не слышно, — и иногда распахивается дверь, заглядывает ухмыляющаяся, невинно-нахальная рожа, и сердце тоскливо сжимается в предчувствии очередной пакости изобретательных негодяев. Потом звенит звонок, и прижав к себе, как щиты, классные журналы, учителя расходятся по этажам, и на сорок пять минут устанавливается неустойчивая тишина, — полная тишина в школе бывает только ночью, — чтобы снова взорваться от звонка на перемену.

Сидит на своей парте Леонард Вахмистров, даже в коридор не выходит. Спешит, торопится, не успевает закончить до начала урока очередной эпизод из истории петиханского государства. Из всех уроков только историю с удовольствием слушает, выискивает интересные подробности из жизни народов. Встрепенется, вдруг, обрадуется: «Это я у вас забираю», — и забирает, и отдает своим петиханским царям и полководцам. Забирает только самое лучшее, самое умное

и правильное, и оттого государство у него образцовое, не в пример другим. Ведь как это оказалось просто: возьми хорошее, отбрось плохое, а никто, кроме Леонарда, не догадался сделать. Он первый.

— Бумагу! — кричит Леонард. — Полцарства за бумагу!

Бродит вокруг Рэм Сорокин, студень, желе, отвратный тип.

— Леонард, — просит Рэм, — а Леонард! Нарисуй женщину.

Леонард молча тычет в табличку. На табличке написано «Тит».

— Тит, — умоляет Рэм, — а Тит! Ну, нарисуй женщину...

Одним движением карандаша Леонард рисует женский силуэт и небрежно откидывает листок.

— На, — царственно произносит он. — Уходи.

Рэм уходит, умирая от зависти. Ему бы эти таланты, уж он бы нарисовал кое-чего. Школа мужская, обучение раздельное, отношения между полами сложные, запутанные и малопонятные. Два мира, которые живут и развиваются отдельно друг от друга, и официально сталкиваются только на вечерах под присмотром бдительных педагогов, а неофициально — где попало, безо всякого присмотра. И по субботам уже выходят ребята на бульвар. Тоненькие, вытянувшиеся, вышагивают по аллеям, посматривают на девочек, задирают, пытаются заговорить. Гуляет восьмой „А“ по бульвару, гоняет их взад-вперед таинственная сила, а то, вдруг, забудут про девочек и пристроятся цепочкой за прохожим, копируют его движения. Он быстро, и они быстро. Он вразвалку, и они вразвалку. Он — руки за спину, и за ним весь класс — тоже руки за спину. Обернется, — чего это прохожие смеются? — и они оборачиваются. Однажды попался вспыльчивый мужчина, дал Вовке Тимофееву по физиономии. Вовка

не растерялся, дал следующему: так и пошло по цепочке до последнего.

Подошел Витька Борисенко, тронул Костю за плечо. За Витькой Колька стоит, ухмыляется.

— Значит так, — говорит Витька. — Если Колька чего еще сделает, собираем всех, и мы его два раза по морде. Понял? Каждый по два раза.

— Понял.

Костя даже не возражает. Витька сказал — так оно и будет. А как оно будет, как он Кольке по морде даст — неизвестно. Неопределенность полная...

5

Давно уже окончилась война, и живые вернулись к живым, и утешились, как смогли, и наверстали упущенное, как сумели, а мертвые так и остались лежать на необозримых погостах мира, и среди них — брат Лека, убитый напоследок, в самом конце войны, словно где-то не сходилась баланс и кому-то еще недоставало жертв для круглого счета. Лежит Лёка в братской могиле посреди проклятой Германии, упокоился навечно, а Вера Гавриловна с той поры места себе не находит. Иглой в мозгу мучает ее навязчивая мысль, что небрежно уложили сына равнодушные люди, тесно ему там и неудобно, занемели руки-ноги, мурашки бегают по скрюченному телу. Умом всё понимает Вера Гавриловна, гонит от себя бредовые мысли, а проснется ночью: давят в бока диванные пружины, подушка под ухом — холодным камнем, одеяло навалилось на грудь земляной глыбой. В беспокойстве вертится до утра, ищет удобное положение для измученного тела, а найти не может. Нет для нее на белом свете удобного положения. Случилась этим летом оказия, могла съездить с начальником в командировку в Германию, к Лёке на могилу, да не хватило

духу. Тихая, нежная, деликатная — побоялась: увидит первого немца — своими руками удушит. Он, может, и не виноват, первый-то немец, а она виновата? В муках рожала двух сыновей, чтобы было им на кого опереться в будущем — другу на друга, брату на брата. Остался теперь один ребенок, и не родишь уже второго: были годы, да все вышли. Нервная Вера Гавриловна, беспокойная до мнительности: боится выпустить из дома мужа, боится выпустить сына. Утихает только к ночи, когда все спать лягут, и она комнату запрет, отгородится дверью от прочего мира. А за дверью — холодная война, обострение международной напряженности, горы новейшего оружия, заготовленного впрок на последнего ее ребенка. Купили Хоботковы новый приемник «Рекорд», а по нему только и передают, что враги чего-то там замышляют, всевозможные идеологические диверсии, растленное влияние капиталистического окружения, а что сами враги на этот счет говорят — неизвестно: наши заглушки стоят намертво, в приемнике вой на всех диапазонах. Волнуется Вера Гавриловна, как бы опять заваруха не началась, — слишком уж многое начиналось в их поколении, с избытком хватило бы на пару бурных веков, — волнуется за мужа, волнуется за сына. Когда Сергей Сергеевич прорывается через заглушки, пальцы ломает в отчаянии. Соседи у них, конечно, хорошие, — золото положи — не возьмут, — но лучше не слушать того, что слушать не полагается. Береженого и Бог бережет — старая, веками испытанная пословица. Но почему-то не каждого береженого в это время берег Бог: может, потому, что слишком многих Ему надо было беречь, а может, потому, что Его, Бога, предусмотрительно заранее отменили. А тут еще арестовали сослуживца Сергея Сергеевича, почти приятеля. В пьяном виде, на спор, подошел сослуживец к иностранному посольству, позвонил в звоночек у входной двери. Его тут же забрали, —

не успели посольские дверь открыть, — таскали на допросы друзей, таскали сослуживцев: опять Вере Гавриловне беспокойство. Так издергалась, так изнервничалась: одно спасение — глушить себя непосильной работой. Она и глушит. Паркет блестит от суконки, зеркало в шкафу без единого пятнышка, тюль на окнах чистый, штопанный, колом от крахмала. Где она силы берет — трудно сказать. Маленькая, худенькая, не ходит — бегаёт. Никаких жалоб, никогда ничего не болит, а если заболит — все равно не скажет. И на работе постарому. „Надо сделать!“ „Сделаю“. „Надо напечатать!“ „Напечатаю“. „Надо сходить!“ „Схожу“. Быстро, четко, безотказно. А опоздаешь утром — начальник сидит на твоём месте, ждёт. Как прогонишь? Надо просить: „Разрешите, я сяду“. „Ах, — говорит, — простите! Ах, извините! Рассеянность моя проклятая... „Вера Гавриловна не опаздывает. Она утром все бросает и на службу бежит. Дома без нее няня хозяйничает. Обед готовит, комнату прибирает, носки вяжет, ломаным мизинцем слезу утирает. Щеки опали, голубые глаза потускнели, круглое лицо морщинами пошло, темное лицо, как земля. Пропал у няни сын Николка, пропал без вести на Смоленском направлении. Ни живой, ни убитый. Ни порадуешься, ни поплачешь. По праздникам, когда идет няня в церковь, записывает Костя на бумаге в линеечку два листка имен: один во здравие, другой за упокой. Долго думает няня, долго вспоминает всякий раз, чтобы не позабыть кого, чтобы помянули в церкви ближних и дальних родственников. Кто живой — во здравие, кто помер — за упокой. Сына Николку в оба списка пишет. Хоть и не полагается это по церковным порядкам, да у матери свои правила. Может, в плену, может, еще объявится. Зато дочку Лену пишет во здравие: Елену, Владимира, отрока Алексея, отроковицу Анну. Вышла замуж дочка Лена, уехала с мужем в город Челябинск. Хорошо живут, богато, с двумя деть-

ми третьего ждут, зовут — не дозовутся родную бабушку, чтобы своих, не чужих, няньчила, да она не едет. Прикипела няня к Москве, к бульвару, к коммунальной квартире: шутка сказать, третий десяток на одном месте. Пока хозяева не прогонят, с места она не стронется. Выходит няня на бульвар, беседует с довоенными подружками: мало осталось подружек, повымирили чуть ли не все. По праздникам ездит в гости к племяннице, которую сватала когда-то за полотера, сватала, да так и не просватала. Колебалась племянница до самой войны, всё не могла решиться, а потом взяли полотера в армию, в сорок первом попал он в окружение, в сорок пятом воротился из плена, разочек всего натер у них в квартире пол и сел в тюрьму. Оказался этот полотер, тихий человек, английским шпионом. Не зря, видать, ходил по квартирам, не зря высматривал, вынюхивал, выглядывал, собирал секретные сведения при натирке полов. Вот когда обрадовалась няня, что пронесло беду мимо племянницы, а та, дуреха длинная, как узнала про арест, так в голос и заревела. Имела она, видать, свою думу на этот счет. Так всегда и бывает: одного арестуют — двое плачут. Живет племянница всё там же, вместе с хозяйкой, двумя зарплатами мальчика на ноги поднимают, а мальчик уже бреется по два раза на день, учится мальчик в институте, зовет обеих мамой, а отец, как бросил, ни разу не появлялся, и жив он или умер — неизвестно. Приносит няня с собой ветхий листочек — последнее письмо от любимчика Леки, читают ей, неграмотной, вслух, по многу раз: „Жив, здоров, избушка за мной”. Исходит няня тихим плачем, ломаным мизинцем слезу утирает: некому ей теперь купить обещанную избушку. Совсем некому. Сергей Сергеевич Хоботков, отец Кости, работает в проектном бюро, ходит на службу в бывшую церковь. Говорят, что знаменита эта церковь, —

то ли Пушкина венчали, то ли Гоголя отпевали, — но точно сотрудники не знают. Можно, конечно, проверить по книгам. В книгах всё есть, только найти трудно, и потому никто не ищет. Надобности нету. Давно уж всё перестроили, приспособили под свои земные нужды. Кабинет начальника в алтаре, перед алтарем секретарша с машинкой, в большом зале между колоннами проектировщики, в приделе — копировщицы, стены оштукатурены, следов церковных не видно, и только наверху, под куполом, где архив, из-под набитых кронштейнов выглядывают скорбные лики, за пухлые папки с технической документацией уходят наивные апостолы, и чье-то сияние упирается в дощатый потолок. Сергей Сергеевич сидит в общем зале, командует группой инженеров. За день возникает столько вопросов, столько раз его дергают, что приходит домой и остановиться не может. Даже за столом с одной еды на другую перескакивает: сначала хлебнет компоту, потом съест котлету, капусту с бульоном, а уж потом жареную картошку. Быстро, в момент: его за столом не обгонишь. Говорят, вредно это, а ему еще вреднее — медленно. Он и работает быстро, точно, раздражается, когда переспрашивают, за день успевает вдвое больше других, и портрет его висит на доске почета, у входа в алтарь. «Передовик ваш папа. Передовик на старости лет». Везде строят, восстанавливают: работа интересная, взахлеб. Человек делает дело. Человек доволен. «Мне двадцать шесть лет, — говорит. — Мне всё еще двадцать шесть». С работы придет, поест — и на бульвар. Лёка погиб, Костя вырос — кувыркаться не с кем. Ходит по бульвару быстро, стремительно, маятником мотается взад-вперед, до изнеможения, до усталого оупения, чтобы под одеяло нырнуть, как в прорубь. А голова у Сергея Сергеевича — белая, а спина — сутулая, а морщины по лицу — ходами сообщения, а раны — ноют без передышки.

Вспомнит про Леку — они и занюют. Семен Михайлович Экштат тоже по бульвару гуляет. От памятника Тимирязеву до памятника Пушкину. Руки за спину, голова набок, седая шевелюра дыбом. Всегда один: ни к кому не подходит, ни с кем не заговаривает, только глаза прикрывает в знак приветствия. Замкнулся Семен Михайлович, голос не подает. Софья Ароновна и раньше за двоих говорила, — слова не вставишь, — а теперь если и спросит о чем, он не отвечает. Придет вечером с работы, сядет у окна и коллекцию на подоконнике перебирает, мурлычет себе под нос: „Мы догнали наши годы на широком мосте, на широком мосте. Юны годы, возвратитесь к нам обратно в гости. Юны годы, возвратитесь к нам обратно в гости”. Собирает Семен Михайлович экспонаты, характеризующие его, Семена Михайловича, прожитую жизнь. Две военные медали. Осколок бомбы, разорвавшейся рядом. Фото с госпитальными врачами. Фото с выздоравливающими. Белый порошок в пузырьке: последнее лекарство, приготовленное перед возвращением в мирную жизнь. Мало у него экспонатов, трудно их добывать, и потом надо еще определить, экспонат это или не экспонат, и достоин ли он характеризовать отрезок времени из жизни Экштата Семена Михайловича. А когда пополняется коллекция, очень он радуется, потирает от удовольствия руки: „Пурим бывает не каждый день!” Пурим — это праздник, а в иудейской религии праздники бывают редко, и чаще всего не по поводу какой-то самостоятельной радости, а по причине избавления от очередной беды. Прочитал Семен Михайлович в журнале „Огонек”, что индейцы Северной Америки собирали запахи, связанные с важными событиями в их жизни, и что у них с годами накапливалась коллекция трав, сухих ягод и цветов, которые своим запахом вызывали угасшие чувства, и очень пожалел, что не додумался до этого сам, в детстве, и оттого много лет его

жизни не нашли своего отражения. А днем сидит он все в той же аптеке на Никитской, в том же окошечке, и рецепты иронически разглядывает. Если заболит что у Семена Михайловича, тут же идет на прием к врачу, а потом кривит рот в улыбке, рвет рецепты на мелкие клочочки, и настроение у него преотличное. Чем хуже врач, тем лучше у него настроение. Был Шапошников — уважал Шапошникова. За осанку, за солидность, за мудрую неторопливость. Умер в войну Шапошников — уважать некого. Приходит по вызову участковый врач — женщина, в руке тяжеленная сумка, а в сумке — бутылка молока, лук, гречка, два батона, фонендоскоп, пачка бюллетеней. У нее на день по двадцать вызовов, да прием в поликлинике, да писанины — руки отваливаются, да собрание, да кружок по изучению биографии товарища Сталина, да муж, да дети, да обед сготовить, да в очереди отстоять, да постирать, да убрать, да помыть, да не железная же она на самом деле... Тут объявился недавно в Хлебном переулке гомеопат Дебре — французский подданный. Очереди с рассвета стоят, по сто рублей платят, чудеса рассказывают. Похмыкал Семен Михайлович, похмыкал: пошел, записался на прием, заплатил сто рублей, наговорил Бог знает чего и воротился домой довольный-предовольный. Ничего не знает этот Дебре, хоть и французский подданный. „Очень милый человек, но, к сожалению, это еще не профессия...” И опять Семен Михайлович в своем окошке иронически улыбается, да в гордом одиночестве по бульвару гуляет. Софья Ароновна не гуляет. Софья Ароновна от поликлиники устает. Полно пациентов, очередь, как в бакалее: за военные годы зубы у многих попортились, и некоторые даже деньги суют. До войны не совали, а теперь суют. Денег, видно, больше стало, или понятия переменились. Бабушка Циля Абрамовна около окна сидит, на

улицу не спускается: совсем плоха бабушка. На восьмом десятке перенесла войну, эвакуацию, арест сына Гриши. Пропал сын Гриша — ни привета, ни ответа, — и семья его пропала. Жена Гриши с детьми-двойняшками поехала в отпуск, к родным под Житомир. Шестнадцатого июня из Ленинграда выехали. Так все втроем и исчезли. Только телеграмма осталась, стандартный бланк: «Доехали благополучно. Целую, Мила». После войны Софья Ароновна ездила туда, выспрашивала, по домам ходила: никто женщины с двойняшками не помнит. Всех, говорят, евреев немцы вывезли, и с двойняшками, и не с двойняшками. Тем и кончилось: отца тут извели, детей там. Сидит бабушка Циля Абрамовна весь день у окна, на улицу смотрит, дальше стекол не видит. Слеза в глазу постоянная, не от болезни слеза — от жизни. Капают бабушке полезные капли, а пользы нету: ни молитвенник почитать, ни Манечку разглядеть. Выросла Манечка, стала совсем взрослая. Учится в консерватории, на втором курсе. Как говорит профессор, таланта нет, но одаренность явная и работоспособность фантастическая. Скромное платье, черная коса, прямой взгляд — скромная Манечка и целомудренная. Приходит к ней кавалер — серьезный мальчик, студент, будущий инженер. Она его в музеи водит, на выставки, на концерты органной музыки: прививает культуру представителю технической интеллигенции. Если он первым в дверь проходит, она останавливается, замечание делает: „Натан, вернитесь!” Он возвращается, дорогу ей уступает. Странный какой-то кавалер, вся квартира ему удивляется. Придет в гости, сядет в углу, а Манечка на скрипке играет. После обеда наденет фартук, идет на кухню посуду в тазу мыть, а Манечка опять играет. А то, вдруг, наступит тишина подозрительная, в комнату войти неудобно. Чем это они занимаются? А они ничем не занимаются. Они книжки читают. Под вечер выйдут на бульвар и прогу-

ливаются, и разговоры серьезные, и расстояние между ними — будто незнакомые. Ждет Софья Ароновна развития событий и не знает, радоваться или горевать. Подозрительный какой-то молодой человек, совсем без эмоций, и не волнуют его, вроде бы, Манечкины прелести. Бывали такие случаи, — знает Софья Ароновна, — распадались от этого семьи, и переживает она, ночи не спит, не знает, что делать, как выяснить, с кем посоветоваться... Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, после войны пошли на повышение. Тетя Шура — на родной фабрике председатель фабкома. Дядя Паша — директор клуба. Тетя Шура в бостоновом синем костюме — ватные плечи, как эполеты, — туфли на широком каблуке, часы циферблатом вниз: деловая женщина, бабий атаман. Раньше была бригада — десять баб, теперь фабрика — четыреста. Все к ней, все по личному и общественному делу. И на свадьбе у них гуляет, и на поминках плачет, и с трибуны может, и резолюцию. Всего попробовала. От этих заседаний-совещаний появилась у тети Шуры интеллигентная бледность, да новый бостоновый костюм залоснился сзади: хоть перелицовывай через год. Горит тетя Шура, разрывается на части, всю свою неумную энергию отдает общему делу, и коллектив — четыреста баб — очень ее поддерживает. Редкое единодушие женщин относительно женщины. Приглашали тетю Шуру на радио, брали интервью. „Нам бы ясли и детский сад, — сказала она в микрофон. — Матерям детей оставлять не с кем. Матеря на работе, а сердце болит...” „Это, наверно, межведомственные разногласия?” — спросил корреспондент. „А кто ж его знает... Нам, главное, ясли и детский сад. Матеря на работе, а дети без присмотра шаландаются...” Потом она расстелила генеральный план фабрики, объясняла с гордостью: „Здесь будет цех и здесь цех. А здесь детский сад и ясли. И еще детский сад... И еще ясли...” Через неделю на фабрике включили

радио, слушали своего атамана. „Мы стоим у генерального плана фабрики, — бойко начал корреспондент. — Что вы собираетесь строить, товарищ председатель?“ „Здесь будет цех и здесь цех, — на всю страну гордо сказала тетя Шура. — А здесь детский сад и ясли. И еще детский сад... И еще ясли...“ Все сказала, что будет, а чего нету — ни полсловечка. Будто все у них есть. Всем матерям понравилось выступление: не подвела, не уронила, не посрамила — прославила на весь мир. А дети, что ж дети? На то и сердце у матери, чтоб за детей болело. Расцвела тетя Шура за эти годы, стала видная, вальяжная, интеллигентная издали, — в президиуме сидит, все оглядывают, — и увиваются вокруг нее ответственные общественные работники, руку по-мужски жмут, комплименты высказывают, в глаза вопрошающе заглядывают. Но тетя Шура как была непреклонна, так непреклонной и осталась. Придет домой, картошки нажарит, киселя наварит, разденется догола, привалится, прижмет дядю Пашу к стенке: та самая тетя Шура, что до первого льда в речку лазила, после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. Только выросла Нинка, всё стала понимать, ко всему приглядываться, и опасаются они ее больше, да и дядя Паша, хилый мужичишка, вечно увиливает от своих мужских обязанностей по причине хронического ослабления организма. Раньше просто увиливал, теперь с оправданием: работа умственная, ответственная, на износ. Утром встанет, картошки навернет, киселя нахлебается, портфель в руки — и на работу. Ходит дядя Паша по вверенному ему клубу — на плечах френч, галифе с хромовыми сапожками — и уборщицами командует, кассиром, киномехаником, планы кружков утверждает: хорового, баяно-аккордеонного, танцевального, драматического. На репетициях любит присутствовать, особенно в танцколлективе. Девки молодые, горячие: закружатся — все видать. Все бы хо-

рошо, да обидно, что обошла его тетя Шура по должности, да и страшно иной раз, как бы из клуба не выгнали. Уволят — куда пойдешь? На крышу не полезешь. Отвык от крыши, ноги дрожат, да и не солидно ему на крышу: не та теперь квалификация, не та номенклатура. Приходил к нему старый друг, дорогой гость, и тогда и теперь кровельщик, с которым водку вместе пили, в шашки играли, которого он на дружбу всячески испытывал, и обошелся с ним дядя Паша холодно, с соблюдением дистанции, а когда тот выказал обиды-претензии, рассердился дядя Паша, спустил дорогого гостя с лестницы. Теперь дядя Паша ответственный по квартире. Вывешивает счета за электричество и за газ, красным карандашом вычеркивает тех, кто заплатил, строго предупреждает опоздавших. По вечерам ходит в домоуправление, где всё тот же стол под кумачом, всегда готовый для заседаний, и стенгазета в стихах с орфографическими ошибками. Сидит дядя Паша за красным кумачом, курит папиросу в резном мундштуке, прикидывает в уме, как бы уязвить председателя домового комитета, а если попросят закурить, лезет с недовольством в карман, долго там копошится, вытаскивает наружу ломаную папиросу. Мечтает ныне дядя Паша, тщеславный мужичишка, самому стать председателем, сидеть во главе стола, а не в общем ряду с простыми общественниками. Но недолгобливает его управдом товарищ Красиков, от которого многое зависит, да и теперешний председатель домового комитета — авторитетный товарищ, еще до войны награжденный значком „Отличный административный работник“: сверху красный флаг, по бокам желтая металлическая бахрома, а в середине серп и молот, звезда, французский ключ, молоток и еще разные там зигзаги на белом эмалевом фоне. Большой, редкий знак отличия, который выдавали далеко не каждому. Но не унывает дядя Паша, сам уже не простой кровельщик. Время работает на не-

го. Стаж, то есть. Одного боится: как бы не опозорила Нинка своих ответственных родителей, как бы не припаяли ей моральное разложение, глетворное влияние, политическое недомыслие. Уже в седьмом классе свистели под окнами и стучали по водосточной трубе — весь дом знал, что пришли мальчики, вызывают Нинку на улицу. А в девятом даже мать руки опустила. Одни отсвистятся, другие приходят. Эти отстучат свое, а там уже следующие на очереди. Отец выпороть хотел, да разве ее теперь выпорешь? Она сама кого хошь выпорет. Нинка из черноземного района, горячих кровей. Ей бы в табунчике с гармонистом, а не «а + в = с». Что ей эта алгебра? Сухость одна. Недаром кличка ей по школе — «Исключение»: «Уж, замуж, невтерпёж». Нинку во всех окрестных школах знают, отплясывает Нинка на вечерах все танцы подряд. Где танцы, там и она. Кто не танцует, тот не человек. «Ноль внимания, фунт презрения». Доставляет Нинка своим родителям сплошные беспокойства, каждый месяц в положенные сроки с тревогой ожидает тетя Шура результатов — будет или не будет, — а Нинка только хитро улыбается, да отплясывает на вечерах, да уливает от ловких рук, от заманчивых предложений, от неожиданных, врасплох, нападений. У Нинки в руках сила матери. Нинка, ежели подопрет, с тремя мужиками справится, и уже однажды заявила под утро в разорванном до пупа платье. Ни черта она не боится, охотно, до ночи, идет в любую компанию, в чужую квартиру, — лишь бы были новые пластинки, — и оттого многие вокруг уверены, что давно уже произошло с ней то, чего они от нее добиваются, и потому добиваются этого с большей настойчивостью, обижаясь при отказе, не понимая причин. Очень беспокоится тетя Шура, кричит-выговаривает ежедневно, но когда подходит их очередь убирать квартиру, дружно разуются, подоткнув подолаы, — у обоих ноги крепкие, пят-

ки красные, — и в четыре руки мигом все вымоют и вычистят. А кто не хочет сам квартиру убирать, за того тетя Мотя старается. Была тетя Мотя уборщица, теперь повысили — стала лаборантом, получает денег побольше. А ей много не надо, она их всё одно в церковь относит. Свечи ставит, в кружку кидает, нищих на паперти оделяет. Нет, говорят, у нас нищих, перевелись в связи с общим прогрессом жизни, даже «Крокодил» перестал над ними смеяться — глупо смеяться над тем, чего нету, — а для тети Моти кто руку протянул, тот и нищий. Ты протяни — она и тебе подаст. А сама ходит вечерами на Палашовский рынок, подбирает непроданные остатки: картошку, которую покупатели с весов скинули, вялую морковку, забытый пучок лука. Что у кого в квартире пригорит, прокиснет, просто останется, ей на стол ставят. «Кладите, — говорит. — Всё кладите. Люблю горелое, люблю и пересоленное». Живет тетя Мотя в пустой почти комнате. Лежанка, стол да две табуретки. Всю мебель дяди Пуда в войну истопила. Хорошая была мебель, сухая. Другие жильцы давно уж потолки побелили, полы натерли, а у нее потолок серый, закопченный, где печка стояла — пятно на паркете, а около форточки, куда труба выходила, черным-черно. Зато иконы блестят — переливаются в лампадном свете, свои иконы и дареные. Блаженная тетя Мотя, кликуша. У нее явления всякие, весь приход наслышан — умиляется. То, вроде, затемнится где-то, то засветится, то стук пойдет... Из церкви придет, соседские остатки в одну кастрюлю смешает, разогреет, поест, Богу помолится, на лежанку завалится. Спит тетя Мотя без задних ног. И сны ей снятся всякую ночь: божественные сны, с подробностями. Она их жене Лопатина Николая Васильевича рассказывает: про ангелов летающих, про пение райское, про святых апостолов. А та заберется с ногами

на тахту, глазами жгучими уставится — слушает. Той интересно. Есть у квартиры такое подозрение, что она эти сны записывает. Иначе с чего бы стала подробности выпытывать? „На хрена мне ее записи нужны? — удивляется дядя Паша, Нинкин отец. — Ежели надо, я и сам Мотю послушаю”. Жена Лопатина осталась в войну вдвоем с Лялей, работать пошла. Хоть и боярского она роду, а есть-пить надо. До сих пор работает: сворачивает фунтики из пергаментной бумаги, заполняет краской, галстуки разрисовывает. Или ковры из одеял по трафарету делает. Очень бойко идут в магазинах ковры из байковых одеял, только запах от краски — не продохнешь. А вечером, когда все с работы приходят, запирается жена Лопатина в своем кабинете, и чего она там делает — неизвестно. Раньше стихи мужу читала — теперь не читает. Раньше гулять с ним выходила — теперь не выходит. И к мужу, и к дочке совсем равнодушная. Слова лишнего не скажет, голоса не повысит, лишь глаза часто жмурит, когда нервничает. Только раз, этой весной, в самое вишнёвое цветение попросила она мужа отвезти ее за город, в лес. Им попалась дальняя электричка, битком набитая мужиками с мешками, молочницами с пустыми, гремящими бидонами. Их стиснули при посадке, отшвырнули в разные стороны, приплюснули, и всё бы ничего — можно стерпеть, — но попался, как на грех, пьяненький дядечка, который звонко, по-поросячьи, икал в свое удовольствие, и придрался он почему-то к ее шляпке. Долго она терпела обидные замечания вперемежку с нутряными звуками, но дядечка оказался изобретательным, и когда от одной особо удачной остроты заржало полвагона, она скривилась, выкрикнула горлом и, работая локтями, отпихивая потные тела, полезла на всеобщую потеху по мешкам и бидонам к выходу. Теперь она из дома почти не выходит, а Лопатин Николай Васильевич сидит по вечерам на кухне, жарит свои любимые картофельные оладьи,

слушает, как около помойного ведра шуршат тараканы. По воскресеньям заходит он к Хоботковым, с Верой Гавриловной беседует — он жалуется, она утешает, — и наверно, равнодушен к ней, потому что всякий человек тянется к женской ласке и доброте. Или выпьет как следует и опять идет к Хоботковым, ругает ту же Веру Гавриловну за доброту, за участие, за то, что она — как и он — всем всё, а ей ничего. «А мне ничего и не надо», — отвечает Вера Гавриловна. «Тебе не надо — мне надо!» Тоскливо человеку. Тоскливо и неуютно. А если дома неуютно, где тогда уютно? Дочка Лопатина Ляля вышла замуж. Муж — офицер. Веня Вдовых. Золотая голова, золотые руки. Всем поможет, все починит: горя теперь не знает квартира с водопроводчиками, слесарями, электриками. Этим летом демобилизовался Веня, пришел первый раз в кепке — и вроде, короче стал. Предлагали ему в охрану перейти: хорошие деньги, и обмундирование, и паек, — да он не захотел. А у самого образования никакого, девяти классов нету. Пришел на завод, освоился, так начал вкалывать — рабочие останавливали: „Ты не шибко-то... Расценки снизят”. Днем вкалывает, после смены оболъется в душе, вытрется серой, жесткой, со стружками, бумагой, — здоровенный, в три обхвата, рулон в раздевалке стоит, подходи — отматывай, — и в школу. Дремлет на уроках, умаявшись за день, — все дремлют, весь класс, — а потом придет домой, наглоется, как гусь, и спать. Говорят, вредно это — есть на ночь. Вредно, а охота. Спросили учителя, а тот посмотрел на них внимательно, на усталых да на замученных, и рукой махнул: „Ешьте. Вам можно”. Веня по вечерам учится, а жена его Ляля лениво ходит по квартире в длинном, шитом золотом халате без рукавов, кружевное белье наружу выглядывает, полные белые руки нехотя двигаются, пук волос небрежно заколот, грудь вольно лежит под кружевами. Видная, крупная,

в теле, глаза сонные — никакие, а Веня Вдовых рядом с ней, будто из концлагеря: запавший живот, обтянутые скулы, красные от недосыпания глаза и общий жизнерадостный вид от шапки золотых волос. После работы ходит Ляля в кино, любит фильмы с пением, с танцами, с участием Дины Дурбин. А когда возвращается домой, обязательно пристают мужчины, — не могут они разрешить такой роскошной женщине спокойно пройти мимо, — доводят до дома, пытаются заговорить, развить знакомство в интересующем их направлении, а она никак не реагирует. Не поощряет и не отталкивает. Самый обидный для мужчины вариант. Когда они поженились, переживал Лопатин Николай Васильевич, что мешает им, потому что спит тут же, на старом диване, и Веня ужас как стеснялся, шелохнуться не смел на брачном ложе. (Сколько их, лишившихся радости первого обладания из-за тесноты, из-за скученности квартирной!) Веня и теперь стесняется, а Ляля — нет. Ко всему безразличная, ко всему равнодушная. Везде никакая: что в постели, что на работе. Лениво бродит по коридору — все прелести напоказ, — мужчин в соблазн вводит. А коридор за эти годы стал еще мрачнее, разводы расплзлись по потолку, штукатурка потрескалась и местами обвалилась. До войны обещал управдом товарищ Красиков сделать ремонт, в войну ничего не обещал — не до того было, — теперь опять обещает. Деревья на бульваре разрослись, кронами сомкнулись. Бродит по бульвару тихий дебил Гена, тоскует. Довоенные дети выросли, а новые не признают его, не принимают в свои игры: постарел Гена за эти годы, одряхлел не по возрасту. Уже не носится по бульвару, не заливается смехом, не тычет пальцем в грудь: «Ты сумасшедший, шедший, шедший, шедший...» Сохранилась от прошлого одна лишь любовь к бретелькам. В войну стояли на бульварах аэростаты воздушного ограждения, жили в землянках девушки. Стирали

гимнастерки, белье, вывешивали сушить между деревьев, на виду у домов. Прилепился к ним Гена, помогал, тяжести переносил, они его за это подкармливали, подшучивали, убивая время, сватали к ефрейтору Сонечке, а он принимал всерьез и волновался, и прятался от смущения, и вздыхал от невозможного счастья. Унесли аэролаты, засыпали землянки, сидит Гена с няньками на лавочке, скучные разговоры слушает. В том году прошла по бульвару шикарная женщина под руку с кавалером — бывший ефрейтор Сонечка: вскрикнул Гена, кинулся обнимать, от волнения замычал нечленораздельно — толстый язык не поспевал за чувствами — и перепугал всех: здоровенный, под два метра, нескладный детина с пожилым лицом, в битых ботинках, в коротких штанах с цветными бретельками. Насилу его няньки оттащили. Бродит по бульвару старая, неряшливая женщина, вся в бородавочных кустиках, подолгу выгуливает толстого кота в набрюшнике. Она дергает за шпагат, обвязанный вокруг туловища, и раздраженно шипит на кота, а кот шипит на нее, и так они проходят по боковой дорожке, занятые друг другом до злости, до взаимной ненависти. Выходит на бульвар женщина помоложе с глазами печально-удивленными, выводит гулять петуха на ниточке. Петух медленно идет по газону и что-то клюет в пыльной, затоптанной детскими ножками траве, а женщина бредет следом, держит в руке конец ниточки, а голова наклонена вниз, — всегда вниз, — будто разыскивает потерянное. Смотрят со скамеек няньки, неодобрительно поджимают губы на такое безобразие. А няньки на бульваре уже не те: раньше это была профессия, а теперь дело случая; меньше стало няnek: то ли повымирили в войну, то ли затруднения с пропиской; и уже начали хозяева переманивать их, и кое-кто этим пользуется. Зато ребятишек полно: звенит бульвар от крика, от звонков трофейных велосипедов, содрогается от топота ног. Храбрые стали

ребята, война научила самостоятельности. Растекаются, расползаются по городу, по окрестным улицам, с завистью поглядывают на лотки с мороженым, на недосыгаемые кубики: тридцать пять рублей пачка, восемнадцать рублей — половинка. По вечерам слушают ребята радио, ждут заранее свои любимые передачи. На улице Воровского живет специалист-физик, у него стоит экспериментальный телевизор. Полдома набивается в комнату, когда идет пробная передача. Жизнь не стоит на месте, отставших не дожидается. Не успел моргнуть, а она вон куда ускакала! Хоть плачь, хоть догоняй — твое дело. Об арестованных давным-давно Кукиных квартира почти не вспоминает. Война все заслонила. Война встала стеной в памяти, порогом, о который спотыкаются воспоминания. Арестовали Кукиных, как потом оказалось, за связь с иностранцами, за возможные шпионские намерения. А как им было не связываться с иностранцами, ежели работали они во Внешторге, за границу ездили, оборудование закупали? Нонсенс — одно слово. По нашему — абсурд. Арестовали Кукиных — комната освободилась. Освободилась комната — въехал жилец. Петя Лапушкин — цирковой артист. Кому горе, а кому и нечаянная радость. Кому слезы, а кому и счастье. Петя бывает дома редко, месяцами на гастролях пропадает, а когда приезжает — по утрам под потолком висит, уцепившись зубами за крюк. Тренируется. Как-то, сразу после войны, сдал Петя свою комнату опальному художнику. Стали приходиться натурщицы, — что ни неделя, то другая, — оставались на ночь, утром бродили в неглиже, готовили на кухне омлет из американского яичного порошка. Богема в коммунальной квартире. Потом художник развесил по длинному коридору свои холсты, ввернул лампочки по сильнее, организовал выставку. Художник-модернист: только и выставляться, что в коридоре. Приходили испитые, бородатые мужчины, невиданные доселе чудные женщины, смотрели-спорили,

ахали-охали, матерились внятно, в бессильной тоске скрипели зубами, пили гранеными стаканами за талант, за лучшие времена: не квартира — проходной двор. Тетя Мотя не стерпела, — ей грязь убирать, не кому еще, — плеснула горячими помоями на раскоряченную бабу, испортила шедевр. Художник ругаться не стал, а нарисовал на картоне портрет тети Моти, — одну голову, — и пригрозил, что ежели она еще будет портить картины, он пририсует к голове голое тело и отнесет попу в церковь. Воротился из поездки Петя Лапушкин, и все жильцы в один голос потребовали, чтобы он отказал художнику. А Петя и сам не рад: разрисовал художник оштукатуренные стены диковинными рисунками и отказывался белить за свой счет. Кабы реализм — Петя слова бы не сказал, — тоже, небось, работник искусства, — а так дошло до суда, на котором художник потребовал экспертизы для определения художественной ценности. Побелили стены за счет художника, накатали узорчики, и с той поры Петя свою комнату никому не сдает. Все давно уж позабыли про эту историю, одна тетя Мотя не позабыла. Вспомнит и плюнет. Перекрестится и опять плюнет. Самарья Ямалутдинова с первых дней войны живет неприметно, тихо, мышью в подполе. Гладко причесана, строго одета: не улыбнется никогда, не пошутит, не побежит с лишним рублем в „Восточные сладости”. Скулы обтянуло, глаза внутрь ушли: смотрит на мир Самарья, как из глубокого колодца. Нет на свете Рената: кто к ней теперь прикоснется, кому голову на плечо приклонит, для кого засветится? Сникла Самарья, будто ее выключили. Лежит ночами без движения на холодной, одинокой постели, жмурится в тоске: уходит от нее Ренат Ямалутдинов, расплываются в туманной дымке дорогие черты. И не вернуть, не остановить, не удержать. Приезжали порой земляки из Татарии, ночевали, как прежде, на дежурной раскладушке, самые настырные подваливали под

бочок к красавице-вдове, и тут же съезжали в гостиницу, ни с чем. Потом приехал тихий пожилой Хаймертдинов, погостил чуточку, повздыхал, посочувствовал, да и остался насовсем на дежурной раскладушке. Ласковый, боязливый, вежливый до безобразия. Всех любит, со всеми согласен, каждому поддается. Только и слышно: «Ну, простите... Ну, извините...» Он раньше в Татарии жил, на окраине Казани, и свалился как-то на его дом метеорит. Прорбил крышу, упал в подпол. В газетах писали, метеорит для музея отобрали. До сих пор рассказывает Хаймертдинов, рассказывает часто и с подробностями: как выглядел, какого размера, какие причинил разрушения, — все жильцы наизусть знают, — и жизнь свою делит на «до» и «после» падения, потому что всколыхнул метеорит его тихую жизнь, оставил в ней яркий, незатухающий след. Об одном только жалеет Хаймертдинов, что не сохранил вырезку из центральной газеты, где был описан этот исключительный случай с описанием метеорита и упоминанием фамилии, а не сохранил потому, что на оборотной стороне вырезки объезжал войска красный командир товарищ Тухачевский. Обрезал он заметку по самые буквы, и исчезли войска и лошадь, но не исчезло, как нарочно, лицо красного командира товарища Тухачевского, и потому сжег Хаймертдинов опасную вырезку — от греха подальше, — и очень переживает, что не может свои устные рассказы подтвердить документально. Он, Хаймертдинов, мужчина занудливый, но безвредный. По профессии административный работник. Административный работник может, к примеру, не знать таблицу умножения, но он обязан обеспечить, чтобы пятью пять всегда было двадцать пять. Хаймертдинов это понимает, но обеспечить — не обеспечивает. У них вся контора такая: и таблицы умножения не знают, и обеспечить не могут. Каждый вечер после ужина достает он толстую амбарную книгу,

записывает расходы за день. Проезд до работы и обратно. Еда. Починка обуви. Плата за электричество. Мыло. Зубной порошок. Уже много лет подсчитывает расходы, анализирует, ищет пути для экономии, хочет понять, куда деньги уходят. Никак не сообразит занудливый Хаймертдинов, что подсчитывать надо не расходы, а доходы, а так как они у него не увеличиваются и значительно увеличиться не могут, то и считать нечего. А он все равно считает, а потом выходит на кухню, садится на табурет, папиросу закуривает, вводит себя в новые расходы. И потому в коробке от дорогого „Казбека” у него дешевые папиросы насыпаны. Посидит, покурит и спать на раскладушку идет. А Самарья давно уж в постели лежит, глаза в тоске жмурит, дорогие черты вспоминает — вспомнить не может. Детей нет, забот нет, хлопот тоже нет. Приготовить — чуть, постирать — и того меньше. Работает Самарья завхозом в детском саду, продукты принимает, накладные подкальывает, а летом вместе с садом выезжает за город: лес, речка, отдельная комната, еда из общей кухни — одна порция на двоих с Хаймертдиновым. Детей кормят кашей, киселями, провернутыми котлетками, и от такой пищи весь женский персонал, — и директор, и врач, и бухгалтер, и воспитательницы, — поправляется, как на дрожжах, — гладкие, сытые, налитые до спелости, — и Хаймертдинов поправляется тоже. Одна Самарья худая, черная, будто горит в ней вечный огонь, выжигает изнутри. Приезжают в сад комиссии, ревизии, просто начальство: покупаться, позагорать, подкрепиться питательной детской пищей. Директриса — человек опытный: и накормит вволю, и аптечным спиртом напоит, и работу с детьми покажет. За месяц до больших праздников дети перестают гулять, репетируют праздничные концерты. Танцы, пение, литературно-музыкальный монтаж с участием воспитательниц. Приезжает начальство, гости-шефы, прочие ответственные родители. В прош-

лом году один важный товарищ сделал директрисе замечание: „Все хорошо, — сказал, — и цветочки, и ручейки, и ягодки. Но несколько аполитично. Висит в зале портрет, а дети не обращают на него внимания”. Директриса перепугалась, обещала к другому разу исправить ошибку. А как ее исправишь? Как заставишь несмышленного малолетку глядеть на портрет? Выручила шустрая воспитательница. Все лето за каждым завтраком учила детишек: „Какаву хочешь?” „Хочу”. „Скажи: дяде Сталину ура!” И к другому: „Какаву хочешь?” „Хочу”. „Скажи: дяде Сталину ура!” И к третьему. И ко всем: „Дяде Сталину ура! Дяде Сталину ура!” Праздник прошел великолепно, дети кричали, как надо, важный товарищ пожал директрисе руку, но вскоре при репетиции новогоднего концерта столкнулись с новой трудностью. В ответ на возглас: «Кто это нам подарки принес?» вместо традиционного «Здравствуй, дедушка Мороз!» вся младшая группа, как один, упорно кричала: «Дяде Сталину ура!» Их начали спешно переучивать, но дело шло туго, — то ли из-за отсутствия времени, то ли из-за отсутствия «какавы», — и тогда воспитательницы тоже начали кричать: «Здравствуй, дедушка Мороз!», и на празднике они перекричали тех малышей, которые упорно пищали: «Дяде Сталину ура!» Концерт опять прошел с большим успехом, важный товарищ опять пожал директрисе руку и сделал всего одно замечание. „Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо. Только взрослые, к сожалению, более активны, чем дети. Это плохо. А так — хорошо!”

Четвертый урок — алгебра.

Пришел Пипин Короткий, встал в дверях — маленький, морщинистый, шея из складочек, голова — шар бильярдный, мохнатые брови навесиком, брюки балахоном, под пиджаком ковбойка, — встал, носом покрутил и говорит:

— А у вас тут не амбре...

Пипин Короткий живет за городом, ежедневно глотает кислород напополам с озоном и от этого очень чувствителен к духоте, пыли и прочим детским запахам. У него и сад имеется, и огород, и коза, и дачники летом, и вообще он человек сельский, городскую жизнь не уважает, потому что в городе в тяжелые времена не прокормишься. На его памяти тяжелых времен было предостаточно, а у него, как-никак, жена, шесть душ детей, — самый последний родился, когда ему под пятьдесят было, — и он бережет себя, хочет подольше прожить, чтобы всех детей на ноги поставить.

— Садитесь, — разрешает он, и не обнаружив в воздухе пыли и посторонних примесей, прямо от двери кидает на стол свой большой черный портфель. Столько лет он его кидает, что никогда не промахивается, а портфель от этого потрескался, углы облупились, ручка оторвалась, замки не закрываются. Так и носит его подмышкой, согнутый пополам, руки в карманах.

Ребята усаживаются, стучают крышками, а он в дверях стоит, ждет. Раз портфель бросил, значит урок будет. А то может и не бросить, уйдет в учительскую, пока пыль не уляжется и свежего воздуха не напустят. Пипин Короткий — человек не злой. У него опыт, он еще в земской школе учил, — и хорошо знает, что у злого учителя самые упрямые ученики, и потому злой

учитель живет на свете меньше, чем добрый. Он добрый, ему еще много прожить надо. Ребята сразу его раскусили, у них на такие вещи нюх. Он когда первый раз пришел, еще слова не сказал, только встал в дверях, вытащил громадный платок, грубно сморкнулся, а они уже поняли — добрый. У него если провинишься, сразу же: „Встань столбом!”, а сам ходит вокруг, глазки хитрые-хитрые, голова набок, — она у него круглый год загорелая, и складочки на шее тоже загорелые, — походит вокруг, как кот у сметаны, снизу вверх посмотрит и ласково говорит: „Ну, враг мой внутренний... Погляди, какой ты большой. На тебе сен-бернара можно вешать”. Ребята хохочут, а он от удовольствия жмурится. Всем одно и тоже говорит, кроме Лешки Костикова. Они с Лешей одного роста, на него и на Лешу сен-бернара не повесишь. В лучшем случае — таксу.

Пипин Короткий всегда проводит переключку, и надо встать, а он внимательно поглядит, подумает, головой кивнет: «Садись». При переключке оказалось, что исчез куда-то Саша Антошкин. Только что был, а теперь нет его, и никто не знает, куда подевался. Пипин Короткий закрывает журнал, ходит по рядам, объясняет новую тему. «Ура... что? Уравнение. Много... что? Многочлен...» Он спрашивает, а отвечать не надо. Это он себя спрашивает. Это у него манера такая. На уроке геометрии ни циркулем не пользуется, ни линейкой. Прямые линии от руки проводит, окружности — тряпкой. В одну руку зажмет конец тряпки с мелом, другой конец приложит к доске. Раз! — и окружность. Ловкий старичок Пипин Короткий.

Вдруг что-то послышалось. Врсле бы, «ой, ой...»

— Это что? — спрашивает Пипин Короткий.

Все слушают. Тихо.

— Это на улице, — говорит Колька Борисенко.

Вдруг опять. Подольше и посильнее. «Ой, ой, ой-ой...»

— Кто это?

— Это на улице, — успокаивает поспешно Колька. — Не обращайтесь внимания.

Тут как застонет... Как занает... Во весь голос! «Ой-ой-ой... Ай-ай-ай... Ой-ой-ой-ой... Ай-ай-ай-ай...»

— В коридоре, — говорит рыжий Вячик.

— В стене, — кричит Вовка Тимофеев.

— В шкафу, — уточняет Рэм Сорокин. Он ближе всех к шкафу сидит. Ему слышнее.

Стенной шкаф закрыт на задвижку. Открыли дверцу, а оттуда валится Саша Антошкин — вся спина от штукатурки белая. Стоит, приседает молча — коленки не держат. Все полочки из шкафа вынуты и на дно положены. Сам шкаф мелкий-мелкий: не иначе, когда закрывали, большую силу прикладывали, чтобы Антошкина умять.

Пипин Короткий буро покраснел, будто сразу обгорел на солнце, нижнюю губу выпятил:

— Кто?!

— Это не мы... — на всякий случай торопится рыжий Вячик.

— Это не мы... — поддакивает класс.

— Кто?!..

— Никто... — шепчет Антошкин, а сам по-воробыному глаза прикрыл.

— Вон! — командует Пипин Короткий. — К директору!

Весь класс смотрит на Кольку Борисенко. Он сделал. Больше некому. Значит, скоро за Колькой придут. Вот и повод. Вот и выгонит его Иван Егорыч. Давно уж собирается. Антошкин, конечно, выдаст. Антошкин наедине с директором любого выдаст. Не от боязни наказания, а от неопределенности положения. С ним, с Антошкиным, нельзя идти в разведку. Да он и сам не пойдет, потому что в разведке отовсюду подстерегает неизвестная опасность, будто тысячи Колек Борисенко могут неожиданно щелкнуть по носу.

В дверь заглядывает нянечка:

— Борисенко! К директору.

Ну, всё! Вот и выдал...

— Иду, — неожиданно вскакивает Витька Борисенко и идет по ряду.

Восьмой «А» охает.

— Тихо! — кричит Пипин Короткий. — Борисенко, ты сделал?

— Я.

— Зачем?

— Захотелось.

— Вон! — и Пипин Короткий распахивает настежь дверь.

Порядок восстановлен, можно продолжать урок. Пипин Короткий путается, сбивается, объясняет плохо, а ребята уже не слушают, а кто слушает, тот не понимает. Такого еще не бывало в их богатой практике...

Вдруг — звонок. Намного раньше. Что такое? Почему? Не успели разобраться — все классы в коридор высыпали. Раньше — не раньше, а обратно не загощишь. Перемена.

7

Выскочили из класса, побежали вниз, а Витька уже навстречу идет, за сумкой, а позади него плетется Саша Антошкин, от страха приседает. Выгнали Витьку из школы, выгнали на неделю за безобразное поведение. Он только к директору вошел, пристально поглядел на Антошкина, и тот сразу же подтвердил, что именно Витька в шкаф его запихивал. Иван Егорыч не поверил — его просто так не возьмешь, — попросил Витьку постоять в коридоре, остался с Антошкиным наедине. Витька постоял-постоял, да и нажал на кнопку звонка. То ли нарочно, чтобы не дать

им поговорить, то ли случайно: руки чесались. Выскочил из кабинета Иван Егорыч, закричал, руками замахал, выгнал Витьку на неделю из школы. За звонок и за Антошкина.

В суматохе позабыли про следующий урок. А следующий — урок истории. Придет историк, контуженный на войне, комок нервов с вечной головной болью, с дергающимся глазом, с играющими желваками, придет, скрипя протезом, держа в руке длинную указку, котсрой он достает до третьего ряда. Он сядет боком к столу, с облегчением вытянет ногу: «К доске пойдет...», и палец с прокуренным ногтем поползет снизу вверх по журналу — всегда снизу вверх, это они хорошо знают, — и сердце замирает, когда палец проползает мимо твоей фамилии, и Антошкин как-то сказал, что он с удовольствием поменял бы свою фамилию на Яковлев, лишь бы скорее проползал мимо этот проклятый палец, и не боится один только рыжий Вячик, который знает всё наизусть, да и он, наверно, боится... А ведь историк ничего плохого не делает, только дотягивается своей длинной указкой и легонько постукивает виновного по голове, не потому, что тот балуется, — об этом даже подумать страшно, — а просто невнимательно слушает или громко говорит: говорить надо тихо, очень тихо, он и урок объясняет почти шепотом, морщась от постоянной головной боли... Зато дисциплина у него на уроках образцовая. Все учителя завидуют.

Третий звонок прозвенел, а историка всё нет. Ребята переглядываются, боятся удаче верить. Вдруг открывается дверь, входит секретарша директора, говорит печально:

— К сожалению, урока не будет. Заболел наш...

— Ура!! — взревел восьмой «А». — Домой!..

— Тихо! — кричит секретарша и дверь загораживает. — Постройтесь. Будем выходить организованно.

А все уже построились и толкаются, и кричат на

замешкавшегося Леонарда Вахмистрова, чтобы скорее собирал свои петиханские рисунки. Быстро спускаются по лестнице, напирая на секретаршу, и в дверь, и на улицу, на вольный воздух, и забыли про директора Ивана Егорыча, который велел остаться после уроков, и забыли про завуча Елену Васильевну, которая тоже велела остаться, и про преступления забыли, и про наказания. Завтра, завтра останутся, завтра разберутся, кто написал матерное слово поперек Индийского океана, чью драную сумку тащили на ремнях по школьному фасаду, зачем ползли на партах за немкой Ольгой Матвеевной... Завтра, завтра... Завтра — не сегодня.

Вывалились на улицу, а на заборчике сидит Витька Борисенко, на солнце шурится. Подошли, обступили кругом, встали и смотрят. Человек совершил подвиг. Человек принял вину на себя. На человека стоит посмотреть:

— Все? — спрашивает Витька.

— Все.

— Пошли.

Кучкой идут через двор, а Колька Борисенко, на голову выше каждого, идет рядом с Витькой, выкрикивает в голос:

— Братан у меня... Ну, братан! Золотой братан...

Пришли за сарай, встали в кружок: посередине Витька, Колька и Костя Хоботков. Саша Антошкин, герой дня, позади всех.

— Бей, — командует Витька. — Ты первый.

Костя не любит драться. Не любит, потому что боится. Боится, потому что не умеет. Не умеет, потому что не любит. Заколдованный круг. Надо бы решиться и разорвать его, но с возрастом это труднее сделать: в пятнадцать лет не пойдешь в первый класс.

— Бей, — повторяет Витька. — Два раза.

— Бей! — кричит кто-то. — Чего стоишь?

— Бей! Бей!!

Колька Борисенко садится на камушек, ноги скрестил, колени в стороны: этаким великолепный мужской экземпляр. Сидит и курит. Курит и поплевывает.

— Бей, — нагло ухмыляется Колька и зубом цыкает, рожу подставляет. — Чё ж ты не бьешь?

— А-аааа... — то ли вскрикивает, то ли всхлипывает Саша Антошкин, визжит, топаёт ногами и головой в живот сбивает Кольку на землю. Лежит Колька, барахтается в пыли, а Антошкин насел сверху, молотит кулаками по лицу, по голове, коленками бьёт в пах. Здоровый малый Антошкин, а умения в драке нету. Стоит восьмой «А», смотрит. Никто не помогает, никто не мешает. Колька изловчился, дал разок: Антошкин к сараю укатился. Конец драке.

Антошкина подняли, отряхивают, успокаивают, а он размазывает по щекам пыль со слезами, кричит яростно:

— Я теперь каждый день бить его буду... Каждый! Вот увидите...

А Колька Борисенко грязь из ушей выковыривает, матом ругается.

Костя идет домой по Большой Молчановке. Мимо своей школы, мимо женской, мимо дома, где консервной банкой высадили окно, мимо детской поликлиники, мимо дровяного склада, мимо родильного дома имени Грауэрмана, мимо аптеки на углу Воровской, куда надо подниматься по ступенькам, мимо булочной, мимо дома полярников, мимо фармацевтического института...

Пришел домой, поел, лег на диван лицом в подушку, заснул. Лучший способ от любой неприятности — поспать. Проснешься — всё то же, ничего не изменилось, но легче. Привычной.

А к вечеру в квартире умерла бабушка. Циля Абрамовна.

Приехал с гастролей цирковой артист Петя Лапушкин. С молодой женой. Открыли дверь в комнату, распахнули окна, чтобы выпустить застоялый воздух, жена Пети, не снимая пальто, прошлась по комнате, разглядывая место своего дальнейшего жительства. Она „каучук”, человек-змея. Маленькая, гибкая, девчонка-девчонкой. Случай свел их в одной программе. Там и расписались, там и свадьбу сыграли, прямо на манеже.

Пришли жильцы, набились в комнату, расселись на диване, на стульях, стали молодую жену оглядывать. «Тося», — говорит, и жесткую ладошку протягивает. Полез Петя в чемодан, достал две бутылки. Поздравили, выпили, одобрили Петин выбор и ушли по своим делам, чтобы молодым не мешать.

Тетя Мотя пошла в церковь. Замаливать грехи свои и общие, свечки ставить, нищих оделять, кликушествовать на всеобщее умиление. Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, парадно приоделись и пошли во МХАТ. Культпоход всей фабрики на пьесу великого пролетарского писателя Максима Горького «На дне». За ужином накормили Нинку чесноком и ушли спокойные. После чеснока не очень-то нацелуешься. Нинка пожевала чаю, мятных таблеток, платье накинула и убежала. Сидит в кино, слева-справа два парня руки ей мусолят, а она им в темноте по очереди улыбается. Софья Ароновна в поликлинике: сверлит, пломбирует, население обслуживает. Семен Михайлович Экштат по бульвару гуляет, пьет сельтерскую воду возле памятника Пушкину. Манечка с кавалером в консерватории: строго, скромно, возвышенно. Самарья с Хаймертдиновым у директрисы на дне рож-

дения. Сидят за одним столом дружным детсадовским коллективом, пьют разведенный медицинский спирт, песни запевают. «Что ж ты, Вася, приуныл, голову повесил...» Жена Лопатина уехала с обеда славать галстуки. Приемный пункт за городом, вернется не скоро, переждет на платформе людскую сутолоку, часы пик. Лопатин Николай Васильевич задержался на работе: он в такие дни всегда задерживается, а Веня Вдовых не пошел в вечернюю школу: он в такие дни никогда не ходит. Воспользовался отсутствием тестя и тещи, блаженствует с Лялей в отдельной комнате. Цирковой артист Петя Лапушкин ушел к друзьям, показывать молодую жену. Мама Кости на службе: печатает, стенографирует, глушит себя непомерной работой. Сергей Сергеевич переоделся, ушел в клуб. Торжественный вечер, посвященный тридцать первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад, концерт, танцы, буфет-складчина. Заикнулся было, что не хочет в буфет, так на него накинулись: „А кому охота? Каждый мог отказаться...” Костя с няней рано легли спать. Костя на кровати, няня на полу. Она-то и услышала через стенку, как застонала Циля Абрамовна, как прокричала неразборчиво чужим, незнакомым голосом.

Няня встала с матраца, босиком пришлепала к Циле Абрамовне, а та уже отходит. Вдохнула легко, сказала что-то по-еврейски, быстро-быстро — няня не поняла и не запомнила — и умерла, будто заснула. Только стоит — не скатывается в мертвом глазу последняя слеза. Няня сложила ей руки на груди, закрыла глаза, перекрестила рабу Божью Цилю. Воротились домой жильцы, сидели до ночи на кухне, тихо переговаривались, жались друг к другу, слушали, как кричит в комнате Софья Ароновна.

Костя просыпается утром, весело бежит умываться, а в доме покойник. Стоит на кухне Софья Ароновна, ест прямо из кастрюли, и мелкие слезы часто капают в холодный украинский борщ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Ждать и догонять — последнее дело!

Поднялись по лестнице к чердачной двери, забились в темный угол, сели на любимую батарею, — летом здесь прохладно, а зимой тепло, — закурили, замахали руками, заговорили разом: три года отбарабанили — вот уж четвертый пошел — срочно пора тараканить — каждый лишний час ножом по сердцу — еще подумают, что они смирились — ради чего дни считали, часы и секунды — листки календаря на чековую иглу накалывали — спорили — ссорились — шли на конфликт с начальством... Ради чего?

Кричат шепотом — дело секретное, перебивают друг друга — дело безотлагательное: решается судьба, будущее, успех, карьера, перемена положения, прогресс: прогресс — это всегда перемена, но перемена — это еще не прогресс. Ходили задолго, узнавали, выспрашивали, обсуждали варианты, друзей и знакомых на ноги подняли: страшно промахнуться. Читали объявле-

ния на улицах, натолкнулись на необычное: „Требуется инженер-строитель, знакомый со строительным делом”. Поржали, повеселились над чьей-то тупостью, а потом, вдруг, поняли: никакая это не тупость, а мера предосторожности. Не одни они выбирают, но и их выбирают тоже.

Два месяца волнений: солидная фирма — хорошо платят, расширяются — нужны люди, удобный момент: проси больше — дадут больше... Соврали кадровику про прежнюю свою зарплату, да он тоже не лыком шит: попросил принести комсомольские билеты, вроде бы, для оформления, они и поверили, и принесли, а там взносы не с тех денег — влипли ребята. Привычный к обману кадровик не рассердился даже: «Мне обидно не то, что вы врете, а то, что вы думаете, будто я вам верю», — попросил неделю срока, обещал позвонить. Очень уж, видно, люди нужны...

Сегодня ровно неделя, сегодня должно решиться... Там наверное, наверняка хорошо. Если здесь плохо, то где-то там должно быть хорошо. Просто обязано. Иначе, на что надеяться? Устали ждать, устали волноваться, сидят на батарее, дымят сигаретами — бывшие однокурсники, друзья по несчастью, обволакивают темноту дымом, дают окурки о батарею, — все нервы наружу, подходи — шупай, — под ногами пепел, пепел и пепел, и продохнуть невозможно, и хрипят голоса от дыма и волнения. Может, их внизу начальство разыскивает, может, к ним из цеха по делу пришли, да какое уж тут начальство, какие дела, когда сидят люди, как на иголках, ждут телефонного звонка и перемены в личной жизни... Кто остается, тот пусть и работает.

Сколько месяцев промаялись, протосковали, промучались, сколько раз уныло брели к проходной, волоча ноги: „Скорей бы утро, да опять за работу...”, — дежурная шутка, никто не смеется, — а теперь свобод-

ны, независимы, и уже не могут в конце рабочего дня криком отводить душу: „Триста семьдесят пятому дню разэдакой жизни — конец!” Чего кричать? Хочешь уходить — уходи. Хочешь оставаться — оставайся. Всем им уже по двадцать шесть, но первый раз их судьба от них самих зависит.

— Тихо! — говорит Толя Кошелкин. — Командовать паникой буду я!

2

Толя Кошёлкин вскакивает с батареи, бежит вниз, к секретарше: не звонил ли кто по городскому телефону, не просил ли что передать. Секретарша у начальника злющая, вредная, своенравная: дай такой власть, она до конца насладится. Вот она и наслаждается, и командует, и измывается как хочет и над кем хочет. Перед ней больше, чем перед начальником, заискивают. Начальник может сделать одну крупную пакость, секретарша — тысячу мелких. Ребята заранее сговорились, жребий бросили, наметили жертву, кому за ней ухаживать, кому соблазнять, цветы дарить, конфетами кормить, интимные слова на ушко нашептывать, чтобы смилостивилась, чтобы оттаяла, звала к телефону милого друга. Выпал жребий Толе Кошёлкину. Сколько он сил положил, сколько нервов, пока убедил ее в нежных и бескорыстных чувствах. — подсчитать невозможно. Секретарша — женщина недоверчивая, подозрительная, в критических letech, привыкшая на своем посту к мужскому обману и к разочарованиям: такую разве проймешь? „Я понял все, — в нужный момент с надрывом сказал Толя. — Я был не нужен”. Тем ее и взял. И все из-за проклятого телефона. Не захочет — не позовет. Не разрешит — не позвонишь. А что? Телефон служебный. Частные разговоры в рабочее время не допускаются.

Толя Кошёлкин возвращается сразу, мгновенно, через две ступеньки. Этот зараза-кадровик, бесчувственная душа, — за что ему только деньги платят! — неужто не понимает, как им важен его звонок? Мог бы войти в положение, мог бы понять среди своих анкет, что они не фотографии размером шесть на девять, а люди: живые люди, — ушибли — синяк, уколи — кровь, — у которых решается судьба, будущее, перемена положения... Курить больше нету сил, дым закручивается спиралями, в горле будто рашпилем провели, сухость одна и кашель...

— Ну, мужики... — сипит Толя в холодной ярости. — Дело чести!

Нос у Толи заострился, щеки ввалились: сразу видно, вступил человек на очередной гибельный путь и не сойдет с него теперь до конца. И это так. Можно заранее попрощаться с Толей Кошёлкиным. Потому что были уже случаи. Потому что за эти годы Толя Кошёлкин погибал неоднократно, и всякий раз — весело, убедительно и несолидно.

Впервые это случилось на сцене институтского клуба, при переполненном зале. Толя Кошёлкин изображал тупого студента на лабораторных работах по электротехнике, и этот самый студент своими неумелыми действиями производил короткое замыкание. Гас свет, артисты раскидывались по сцене в живописных позах, свет загорался снова, и зрители вяло аплодировали нехитрой авторской выдумке. И тогда Толя Кошёлкин, который любое дело доводил до конца, — если он, конечно, за это дело брался, — решил устроить на сцене настоящее короткое замыкание. Он приготовил заранее два голых провода, включил в сеть и замкнул в нужный момент. Брызнули искры, охнул зал. Свет погас и зажегся снова.

Тупой студент умирал. Он умирал по-настоящему, убедительно и достоверно, и ни один народный артист не сделал бы этого лучше, и даже Константин Сер-

геевич Станиславский со своей знаменитой системой не смог бы к нему придраться. Его трясло, его било и колотило об пол, его ломало и корежило, а зрители топали от восторга ногами, зрители орали и бесновались, и кричали „Бис!“ Хохотал зал, хохотали артисты на сцене, хохотал за кулисами счастливый автор. Дали занавес, но тупой студент продолжал умирать на пыльных досках. Только тут почуяли неладное и ногой вышибли провод из его рук.

Пока его откачивали, ребята быстренько прикинули силу тока, и когда Толя очнулся, радостно ему сообщили, что по всем правилам электротехники его должно было убить, почему не убило — непонятно, и теперь всем своим существованием он, Толя Кошёлкин, бросает вызов всемирно известному закону Ома.

Второй раз он умирал под парашютом после прыжка с аэростата. Как только повесили объявление о приеме, он уже знал, что запишется, прыгнет и случится несчастье. А какое несчастье может случиться? Не раскроется парашют? Он раскрылся. Запутаются стропы? Не запутались. Сядет на высоковольтную линию? Не сел. Повиснет на дереве? Не повис. Опустится на воду? Не опустился.

Он прыгнул с аэростата и сразу же начал дергать за стропы, управлять полетом, — какой смысл лететь просто так, мешком? — и от этого дерганья его тут же понесло куда-то вбок, и принесло на пасеку. Он повалил ногами улей, вместе с ульем накрылся парашютом, и озверевшие от ужаса пчелы отомстили ему за всё. «В таких случаях, — объяснил потом пасечник, — первым делом затыкают лётку». Можно подумать, что где-то еще бывали такие случаи.

Когда его отбили от пчел и увезли в больницу, пасечник сообщил любопытствующим, что пчелы должны были зажалить его до смерти — лошадь, и ту зажаливают, — почему не зажалили — ему не совсем ясно, но раз уж он выжил, то теперь до ста лет

ревматизма не будет. Весь клуб ржал от восторга, разглядывая его опухшую физиономию, а он до сих пор бледнеет от одного запаха меда.

В третий раз он умирал посреди праздничного стола, на винегрете, огурцах и селедке с луком. Сюда, на этот стол, его занесла скользкая мостовая и очередное увлечение мотоциклом. Его «ИЖ», поскользнувшись на повороте, — а повороты он всегда проходил на скорости, иначе зачем мотоцикл и зачем повороты? — высадил смаху обе оконные рамы и вместе со своим седоком рухнул в полуподвал, прямо на свадебный стол, где в этот самый момент отдавали замуж единственную горячо любимую дочку. Хозяин дома обезумел — дело было зимой, — хозяин дома рванулся к топору, чтобы зарубить эту гадину, этого частного владельца, который вместе со своим паршивым мотоциклом нахально развалился на его богатом столе, но убивать уже не было необходимости. Он лежал убитый на остатках колбасы, картошки и домашних малосольных огурчиков, а рядом, как верный конь, теплым боком привалился к нему «ИЖ», в моторе что-то постукивало, колесо крутилось, из выхлопной трубы на дорогих гостей шел отработанный газ.

Его увезли на «Скорой помощи» — мотоцикл хозяин дома оставил под залог, — и санитары от хохота вываливались из машины. Врачи не могли его осматривать, сестры — перевязывать, нянечки — ухаживать: от смеха у них тряслись руки. «Вряд ли выживет», — решил после осмотра главный врач и неожиданно для самого себя глупо захихикал.

При выписке ему сообщили, что жив он остался случайно, что по всем правилам медицины его должно было убить, а почему не убило — никто не понимает: рамы были дубовые, крепкие, старые, — теперь таких не делают, — да еще на окне стояла железная решетка, чтобы в комнату не залезли воры.

Толя Кошёлкин в своей короткой жизни умирал неоднократно, а в промежутке сколько еще было увлечений, которые тоже оканчивались печально, но без смертельного исхода. А в перерывах между увлечениями он отсыпается, отъедается, наливаются щеки, нос пухнет картошкой. Тихий, благодушный человек. И все-то ему неохота, все-то ему лень... Сидит, мурлычет песенки. «Как за Камой, за рекой, потерял я свой покой...» — «Толя, — позовут его, — а Толя... Пошли погуляем». — «Меня не любишь, — отвечает Толя, глядя ленивым кошачьим глазом, — но люблю я. Так берегись...» — «Чего беречься?» — спросит непосвященный. «Любви моей». И опять сидит, опять мурлычет. «Возле города Тагил я Марусю полюбил...» Вдруг — клюнуло. И всё. И конец. Щеки вваливаются, нос заостряется. Человек встает с места и добровольно идет к своей неминуемой гибели.

На тихого Бог найдет, а резвый сам наскочит.

3

— Мужики! — вскакивает Толя. — На тысячу двести пойдем?

Молчат мужики. Не привыкли мужики говорить о деньгах. Им, мужикам, стыдно. Их так воспитали.

— Пойдем или как?

— Тысяча пятьсот — оно, конечно, больше, — дипломатично сообщает Саша Терновский. — И значительно...

— Значит не пойдем.

— Куда ты торопишься? — морщится Саша. — Дай нам поколебаться.

— Ты молчи. Ты у нас интеллигент.

— Да, — гордо соглашается Саша. — Я у вас интеллигент.

Саша Терновский — интеллигент. У него малень-

кое, от скул к носу заостренное лицо, мелкие, близко посаженные глаза, — когда пьет чай, оба глаза в чашку смотрят, — смазанные, будто не в фокусе, черты лица, и никакими ухищрениями он, искусный фотограф, не может добиться четкости на собственных портретах. Вроде бы, всё есть — и нос, и рот, и глаза, но чуть-чуть размыто: так и хочется лишний раз навести на резкость. Саша Терновский не любит свое лицо.

Он уже много лет увлекается фотографией, в кладовке при кухне оборудована у него лаборатория, и все ее стены, как обоями, от пола до потолка сплошь заклеены снимками: один и тот же портрет, не в фокусе, размноженный в сотнях экземпляров, а поверху, бордюром, нацарапано тушью, с подтеками: «Где вы купили такое лицо?» И посреди одинаково насупленных физиономий — узкий, вертикальный снимок Саши Терновского на пляже, в цветных сатиновых плавках, которые пошила мама: детские, неразвитые плечи, широкий таз, тонкие ноги, сутулая спина, — как постоянное напоминание о самом себе, чтобы не забывал, чтобы смирял гордыню, чтобы философски относился к неудачам в личной жизни.

Саша Терновский пишет мрачные стихи про разбитую жизнь, несбыточные надежды, могильный тлен и хлад — «Я наполнил грустью бокал, и бокал стал золотом ал...», — а потом с огромным удовольствием читает их всем, кто пожелает его слушать, повергая в паническое недоумение инженерно-технический состав серийно-конструкторского бюро машиностроительного завода. «Как приятно в ночной тиши пить остатки своей души...» Однажды он чуть было не женился на поэтессе — тоненькой девочке с большими глазами, которая тоже писала грустные стихи, но в последний момент она вышла замуж за известного спортсмена-десятиборца, родила ему ребенка-великана и перестала не только писать стихи, но и слушать.

Это случилось еще в институте и было первым ударом в его личной жизни, а таких ударов по сей день состоялось великое множество и, очевидно, будут еще, несмотря на лабораторию, сплошь заклеенную его портретами. А он лежит, как камушек на дороге, подходи и бери, и если не взяли, то по недомыслию, потому что он готов полюбить любую женщину, которая сделает к нему только один шаг. И за бездетность с него не надо вычитать. Это несправедливо — вычитать с него за бездетность.

Саша Терновский живет вдвоем с мамой, по вечерам, после ужина, дружно забираются с ногами на диван, слушают Бетховена на допотопном проигрывателе, обмениваются впечатлениями. Его мама — женщина интеллигентная, утонченная, неизлечимо болезненная — получает пенсию за убитого еще в финскую войну мужа, и этой пенсии, пока Саша учился, им не хватало на самое необходимое, а теперь он инженер, у инженера — зарплата, изредка — премия, и на необходимое им уже хватает, а на желаемое — нет. Все институтские годы Саша проходил в отцовских сапогах, галифе и кителе, а под кителем — ковбойка, а на ковбойке — белый, крахмальный, пристегиваемый воротничок и полосатый галстук с гигантским узлом. Он был один такой на весь институт: длинный, сутулый, экстравагантный до несурязицы. Все время он был окутан иронией, как дымовой завесой, и под этой завесой сначала учился, теперь работает, и не выйдет из-под нее, наверно, никогда. И все время надо быть начеку, чтобы не прорвалась завеса, чтобы не сдуло ее в сторону, а то прорвется — и ты голый. Детские, неразвитые плечи, широкий таз, тонкие ноги, сутулая спина...

У Саши Терновского аналитический ум. Любит докапываться до основы, до того места, откуда все начинается. Где другой проскочит на скорости мимо, Саша непременно зацепится. Еще в школе заду-

мывался над непосильными вопросами, ставил в тупик учителя истории и конституции, читал Ницше, делал заметки на полях косым прыгающим почерком: „Правильно”, „Нет!”, „Сволочь...” „Вот он, фашист!” „Гитлеровец! Бей гадов!!” Когда изучали „Вопросы языкознания”, одну из последних теоретических работ И. В. Сталина, когда весь институт залихорадило, все факультеты старательно обсасывали тонюсенькую брошюрку, дружно обругивали неизвестного им доселе академика Марра, отложив в сторону другие науки, вот тогда Саша и задал на семинаре свой наивный вопрос, повергший преподавателя в священный ужас: «А что за срочность за такая? Неужто в техническом институте изучать больше нечего?» Спасибо преподавателю, оставил без внимания кощунственную выходку, а то бы, как миленький, вылетел Саша из института, — и неизвестно куда бы еще залетел. А многие в группе даже не поняли его вопроса. Сказали — изучай, они и изучали. А почему, зачем — и в голову не пришло. Подумаешь, проблема... Как изучили, так и забыли.

Саша Терновский — человек неуравновешенный. У него никогда не поймешь, что будет через минуту. Да он и сам этого не знает. После школы Саша решил стать кинооператором, и на экзаменах в институт ему достался снимок „В жаркий день”. Он посадил актрису на стул, вплотную подтащил фонари и два часа ворочал ими, устанавливал свет. Уже все сделали свои снимки и пошли проявлять пленку, уже ассистенты грубо намекали абитуриенту на его неспособность, а он ворочал и ворочал фонарями, и актриса прогрелась, пропотела, на нее было страшно смотреть, потому что на улице стояла жара — тридцать градусов в тени, а под фонарями — все пятьдесят. „Пить!..” — хрипло прошептала актриса, закатывая глаза, и ей дали стакан воды. Сашин снимок „Первый глоток” потряс все жюри. Казалось, перед ним

открылись желанные двери, но он срезался на собеседовании, высказав свои взгляды на кинофильм „Кубанские казаки”, чего не требовалось не только от будущих операторов, но даже и от будущих режиссеров. Он не хотел, не желал этого, он понимал, что делает глупость, но нервная система в который уж раз не поддавалась регулировке, и он наговорил гадостей всем членам комиссии вместе и председателю в отдельности.

С горя Саша поступил в технический институт, после второго курса они поехали в военные лагеря, и здесь его нервная система развернулась в полную силу. Вместе со всеми он погрузился в теплушку, — девять человек нанару, семьдесят два на вагон, — и по дороге лихо, не хуже других, пил теплую водку, сидя по-турецки в тесном пространстве между нарами, запрокидывая голову и стучаясь затылком о верхние доски. Лихой воин, бывалый солдат, почти герой... В первую же ночь ему надоело спать в тесноте, шпротами в банке, и по команде поворачиваться на другой бок, и он с комфортом развалился прямо на полу, подложив под голову чемодан. Дома он вечно страдал от бессоницы, от шума машин, — хилое, нервное дитя большого города, — а здесь сладко спал на голых трясущихся досках, под грохот и лязг колес, а утром ребята перешагивали через него и не могли добудиться. Такая у него странная нервная система, которая чувствовала себя превосходно на голом теплушечном полу.

На третьи сутки они приехали в лагерь. Из Москвы, из столичного института, первый раз в этот город: на вокзале им приготовили торжественную встречу. Подошел поезд, грянул оркестр, распахнулись двери теплушек и посыпались на главный перрон грязные, чумазые, оборванные столичные студенты. И только один человек сошел с поезда в парадном костюме, при галстукe. Это был Саша Терновский, потому что представление о военной службе было связано

у него с девушками, которые машут платочками вслед проходящему отряду. Прямо с вокзала, срочно изменив распорядок встречи, их повели строем в баню. Оркестр играл „Марш нахимовцев” — „Простор голубой, земля за кормой...”, студенты пели и лихо, по-разбойничьи, подсвистывали, а на тротуарах и в окнах домов недоумевали местные жители, — и девушки в том числе, — кто это такие и куда их гонят. Если это заключенные, то почему они поют, а если это вольные люди, то почему они так одеты. После бани им выдали обмундирование — х/б, б/у. Хлопчатобумажное, бывшее в употреблении. Кому досталось узкое, кому неохватное, кому длинное а кому по-цирковому короткое. У Саши Терновского галифе висели сзади неприличным мешком, гимнастерка торчала дыбом, из широких голенищ выползали на свет серые бязевые портянки. Они маршировали по жаре в противогазах; брали штурмом высоту „Песчаную”, ориентир — отдельно стоящее дерево: вбегали в кусты у подножия высоты, а наверху не появлялись, заваливались спать в тенечке; вскакивали ночью по тревоге; строем маршировали в столовую, где на крашенных столах стояли кастрюли с кашей, залитой сверху коричневым жиром неизвестного происхождения, и миски с брусками вареного свиного сала: мало кто мог это осилить; с песней ходили в кино на «Фанфана-Тюльпана», приспособленного для солдат, укороченного, без пикантных сцен, так что с трудом проглядывал сюжет из-за многочисленных вырезок; пили чай с подсыпанным в него порошком — бромом, что ли? — чтобы солдатам легче было переносить воздержание, — а солдаты тоже не дураки, за неделю до увольнения переставали пить чай; и наконец Саше Терновскому перед строем объявили благодарность за образцовое несение службы. На другое утро он сбежал в город, в самоволку. Так захотела его нервная система, а он с ней никогда

не спорил. За самоволку он заработал наряд на кухне и целые сутки неторопливо мыл жирные алюминиевые миски, невозмутимо выгребал из них остатки еды, не разгибая спины, окутанный паром, над железным лотком с горячей водой, под торопливые понукания голодных солдат, которым не хватало посуды. И его нервная система даже получала от этого некоторое удовлетворение.

И еще раз она сработала совсем недавно, в ночь под Новый год. Вдруг, ни с того, ни с сего, Саша Терновский захандрил, заперся в лаборатории, поставил единственную свою пластинку с дикой музыкой, — самодельная рыночная продукция на рентгеновской пленке с проглядывающим на просвет скелетом, — и слушал ее одну весь вечер. Она шумела, трещала, издавала непотребные звуки, а Саша молча кривлялся в такт музыке, дергал руками и ногами, и сотни лиц с нечетким изображением пристально глядели на него со стен. В двенадцать часов ночи он вошел в туалет и с первым ударом курантов дернул за веревку смывного бачка «Эврика».

— Ребятушки, — говорит Саша Терновский, — а ребятушки... Плохо наше дело. Не выпить ли по такому случаю молочка?

4.

Идут пить молоко. Мимо сборки, мимо кузницы, напрямик через термичку, где плотный, осязаемо-жаркий воздух душным компрессом накрывает лица и затыкает ноздри, и где можно бесплатно хлебнуть пузыристо-злющую газировку с солью. Остановились, выпили по стаканчику, пошли дальше. Зимой друзья всегда бегают в столовую, по морозу без пальто, едят свиные шницели. — сплошное сало в сухарной корочке, на про-

свет все видно, — умоляют раздатчицу выбрать попростнее, а летом, в жару, пьют до обеда молоко, выбегают в перерыв из проходной — и на канал, купаться. Нырять, кувыркаются в теплой воде, постанывают от наслаждения, проклиная все на свете, лениво ползут обратно, влажные тусы противно прилипают к брюкам, и работать уже неохота, а охота спать.

Они сидят в цеховом буфете, пьют холодное молоко из пивных кружек и сочетают приятное с полезным. Полезное — это молоко, а приятное — это молоко в рабочее время. Вокруг них все пьют молоко, едят мятые, коричневые пирожки с повидлом, густо мажут горчицей толсто нарезанную вареную колбасу и дешевую ливерную, а женщины берут ее домой целыми кругами, чтобы не толкаться после работы в очередях, не тратить время. Буфет выкрашен масляной краской в синий, безжизненный цвет, душно пахнет эмульсией и каленой металлической стружкой, пронзительно, на высоких тонах, верещат станки, да еще рядом, за стенкой, нескончаемо постукивает компрессор, будто пальцем по темени, и часто грохает молот в соседнем кузнечном цехе. Молоко подрагивает в кружках, на больших окнах с частыми переплетами дребезжат стекла.

— Мальчики, — вздыхает Рита Колчина, — ой, мальчики... На улице-то теплынь! Какая погода пропадает!..

И тоскливо смотрит в пыльное окно.

— Какая пропадает погода... — печально, на весь буфет, повторяет Рита Колчина, и интонация у нее чеховских героинь: «В Москву! В Москву!...» На сцене это звучало бы прекрасно, на сцене этому бы аплодировали, но здесь, в цеховом буфете, рядом с ливерной колбасой и пирожками с повидлом, вызывает общее недоумение.

Рита Колчина — актриса. Еще в школе на всех вечерах читала она стихи, чаще всего Константина Си-

монова — «Зал, а не первых три ряда...», — выступала на городском смотре, прославилась, была приглашена в Кремль, на концерт для солдат охраны. Они собрались в проходной у Спасской башни, и солдаты настороженно сверяли каждое лицо с фотографией на паспорте. Потом мелкими группами с сопровождающим их провели по территории, а внутри здания был еще один пост, новая проверка, пристальное оглядывание с ног до головы, быстрый, врасплох, вопрос: «Оружие есть?» А когда их, запуганных, завели в артистическую, в дверях встал солдат, у лестницы встал солдат, в кулисах стояли солдаты, и в зале тоже сидели сплошь одни солдаты. Рита Колчина выступала первой и от волнения так хорошо прочитала стихи Константина Симонова — «Зал, а не первых три ряда...», — что клубное начальство предложило ей выступить у них еще раз. Она, конечно, согласилась, но ее больше не приглашали, может быть, потому, что в первых трех рядах сплошь сидело одно начальство, и оно косвенно могло принять стихи Константина Симонова на свой счет. Во время концерта за сценой ходил мужчина во френче, но без погон, и вежливо предупреждал товарищей артистов, чтобы они ничего не уносили с собой на память. Так редко люди попадали в Кремль, что потихоньку отвинчивали выключатели, вывертывали лампочки из настольных ламп, брали мыло в туалете, чтобы похвастаться потом дома.

После десятого класса мама Риты Колчиной сумела убедить свою дочку, что лучше быть плохим инженером, чем плохим актером. Она поверила маме, пошла в технический вуз, старательно и добросовестно училась, улавливая не суть явлений, а их выражения в учебниках, даже получала пару раз повышенную стипендию, и все было предельно просто и ясно, как заметка в институтской многотиражке: „Отличница, будущий инженер,

находит время для занятий художественной самодеятельностью". И это была истинная правда. В институте Рита сразу же поступила в театральный коллектив и в первом спектакле затмила всех участников, потому что они прежде всего были студенты, а потом уже актеры, а она прежде всего была актрисой. С тех пор и до последних дипломных дней она блистала на подмостках, ее окружала толпа поклонников, через которых трудно было пробиться, но она независимо прошла мимо всех, скромно гордясь своей исключительностью. Была у нее большая, вымышленная любовь к партнеру по сцене, герою-любовнику Вале Грудеву, и бегала она на свидания в угол институтской территории, где пожарный водоем и кучка елок. В водоеме студенты купались, под елками загорали и готовились к экзаменам. Валя Грудев приходил на свидание легким пружинистым шагом, часто вскидывая голову, отчего красиво подлетали кверху его светлые волосы, и они вели двусмысленные беседы с многозначительными паузами и интонациями тех героев, которых они изображали на сцене. Игра была и там и тут, — одна продолжением другой, — и Валя Грудев милостиво ожидал от нее развития событий, будто из них двоих мужчиной была она, потому что Валя был избалован гораздо больше: герой-любовник и герой-спортсмен, чемпион института в беге на сто метров. Стоило только посмотреть, как он разминался перед бегом, как брал старт, как бежал и рвал грудью финишную ленту — настоящий спектакль. Валя Грудев прошел за годы учебы все факультеты по очереди, откуда его отчисляли за непроходимую тупость, и только на заводе, и то не сразу, Рита Колчина поняла, какая она была дура. А Валя Грудев так и не понял, так и остался дураком, у которого по счастливой комбинации генов оказались длинные ноги для бега и красивый профиль для сцены, и у которого самовлюбленность и тщеславие по-

давили даже естественные мужские потребности.

На курсе, где училась Рита, было мало девочек. Факультет считался мужским, и девочки туда не шли. Десяток девочек был на их курсе, и они установили по факультету абсолютный рекорд, потому что на старших курсах их было по пять, по три и даже одна. Эта одна была у них универсалом. Вернее, она не была универсалом, но заставили обстоятельства. На всех соревнованиях и смотрах, где требовалось участие женщин, она бегала, прыгала, метала, толкала, ныряла, пела и танцевала. Она не могла только создать волейбольную команду и провести эстафету четыре по сто метров. Все остальное она делала. Но зато с приходом десятка девочек можно было создавать что угодно, даже девичий хоровод, и это подчеркивало исключительность их положения среди ребят и исключительность Риты Колчиной среди них. Весь курс, весь мужской факультет неослабно следил за ней, все институтские годы прошли под внимательными взглядами, и это придало театральность ее поведению, машинальную театральность позы, движения, речи, будто всегда в центре, под взглядами сотен зрителей. И если рядом не было зрителей, она сама смотрела на себя со стороны.

Когда Рита пришла на завод, сразу же оказалось, что плохим инженером так же плохо быть, как и плохим актером. Она попала в мир техники, к которому не имела раньше никакого отношения, да и не должна была, наверно, его иметь. Ее пугали вызовы в цех, шум, который не перекричишь, грязь, от которой не спасешься, иронические взгляды рабочих, колючие спирали стружек и неуклюжие железки, которые так красиво выглядели когда-то на чертежах, нравились ей и подтверждали правильность выбранной профессии. И потом на заводе она мгновенно, без длительного примиряющего перехода, превратилась из премьера в рядового инженера, ушло сценическое обаяние,

обаяние издалека, но остались ранние морщинки, прыщик на носу, прочие бытовые мелочи, не дающие права на исключительность. А главное, осталась театральность, неистребимая наигранность, которая здесь, среди чертежных досок и разговоров о зарплате, выглядит вызывающе неуместной. Все девочки с их курса давно уже замужем, с детьми, с мужьями, с разводами и любовниками — словом, идет нормальная жизнь, — а она до сих пор одна, отпугнув в институте скромных, привлекая нахальных, которые, в свою очередь, отпугивали ее. И хотя ребятам, ее друзьям, всего по двадцать шесть лет, ей, женщине, уже двадцать шесть. Недавно Рита Колчина начала курить и это ей тоже не идет. Ей многое не идет в жизни, так же, как многое шло на сцене.

— Мальчики, — тоскливо говорит Рита, — а мальчики... Может, подадим заявления?

— И что? — лениво спрашивает Саша Терновский.

— Там видно будет...

— А если не будет?

Отношения у Саши с Ритой сложные, нахально-иронические. Так он выделяет женщин, которые ему нравятся. Это Саша подговорил ребят, и они, незваные, пришли к Рите в гости, принесли поллитра, шумели, через силу говорили пошлости. А у Риты чинная мама, везде скатерти, салфеточки, фарфор и хрусталь, всякие бронзовые штучки, фотографии единственной дочки в разных ролях. Мама напоила их чаем с кексом, а они попросили жареной картошки. Выпили поллитра, огляделись, свернули голову подарочному пингвину с ликером. Пили приторный ликер, заедали жареной картошкой. Рита бледнела от злости и обиды. Потом закурили, развалились на диване, и не выдержав собственного хамства, стали прощаться. „Спасибо, что зашли”, — сказала Рита. „Нам спасибо не надо, — ухарски ответил Саша. — Нам бы деньгами...” Она протянула рубль. Он взял. Она

пошла их провожать, и они напоследок вывалили ее в снег. Обиды было на месяц. А чинной маме ребята понравились. „Смешные какие... Даже притворяться не умеют”. И вздохнула. Внуков хотела мама, внуков...

— Братцы, — предлагает Костя Хоботков. — А не взять ли еще по кружечке?

Берут еще по кружечке, наливаются молоком по горло. Сидят, развалившись, на металлических стульях с тонкими ножками, лениво двигают по пластмассовому покрытию тяжелые, толстого стекла кружки. Грохает молот в кузнечном цехе, звякают стекла, подрагивает молоко на доньшке.

— Какая погода пропадает!..

5

На выпускных экзаменах в школе Костя Хоботков писал сочинение на вольную тему: „Образ молодого советского человека великой Сталинской эпохи”. Привели их в актовый зал, усадили по одному, выдали чистые листы с печатью школы, следили неотрывно, в туалет выпускали тоже по одному, чтобы, не дай Бог, не обманули учителей, не списали друг у друга, не подсунули тайком заранее приготовленное. От этих молодых всего можно ожидать! За много часов Костя исписал кучу хвалебных, восторженных страниц о молодом человеке великой эпохи, — вроде бы, о самом себе, а на деле — неизвестно о ком, — приводил примеры, цитировал первоисточники, долго думал над концовкой и, вдруг, подсмотрел случайно у соседа спереди: „И если потребуется, если будет нужно, я, как и все...” Вяло боролся с искушением, хотел придумать что-нибудь свое, новое, или хотя бы тоже самое, но другими словами, а потом

махнул рукой и решительно, слово в слово, списал у соседа: „И если потребуется, если будет нужно, я, как и все...” Сдал листы, побежал в кино, выбросил из головы все сочинение сразу. Во время экзаменов неожиданно умер Иван Егорыч, директор школы. Пришел из РОНО, с очередной проработки, с очередного привычно-надоедливое напоминания о великих задачах, усталый, голодный, прокуренный. Разогрел еду себе и больной жене, наелся, наглотался — к сердцу подступило, — помыл посуду, прибрал в комнате, накричал на легкомысленную, неизвестно с кем шлявшуюся дочку, лег с газетой на диван, часто-часто задыхался и умер. Хоронили его торжественно, говорили речи, плакали, гроб под музыку обносили вокруг школы, — „Зачем они играют на похоронах? Только мучают живых...” — процессия из учеников и учителей растянулась на километр до Ваганьковского кладбища, впереди на красных подушечках несли две медали: „За оборону Москвы” и „За доблестный труд в Великой Отечественной войне”, и директора соседних школ пристально вглядывались в этот торжественно-формальный ритуал. На выпускном вечере ребята пили, курили в открытую, ночью пошли по Арбату, по бульварам, на Красную площадь, пели на всю улицу: «Под городом Горьким, где ясные зорьки...» И Ольга Матвеевна, немка, ходила вместе со всеми и тоже пела, бойко стучала каблучками, задорно потряхивала кудряшками перманента. Под утро они отвели ее домой, весь класс поцеловался с ней у подъезда, а Колька Борисенко два раза, и из окна дома им улыбался муж Ольги Матвеевны, герой войны. Через час они вернулись еще раз, прокричали под окнами: «Сказочку! Сказочку!.. Ска-зочку!» — и Ольга Матвеевна выглянула смущенная, с растрепанными волосами, в наспех запахнутом тесном, обольстительном халатике, а за ее спиной из глубины комнаты недовольно бурчал муж, и ребята ти-

хонько удалились, сразу догадавшись, что на этом их отношения закончились и целоваться с нею больше не придется. Они разошлись по домам, а потом разошлись по институтам, и после школы с ее маленькими, привычными классами было особенно неуютно в огромной аудитории, где они писали сочинение и где набились сотни чужих, незнакомых конкурентов. „Пишите поменьше, — посоветовал преподаватель. — Главное, чтобы ошибок не было”. Так Костя попал в мир техники. Он вставал затемно, ехал через весь город с пересадками, приходил в холодные слесарные мастерские и отчаянно бил молотком по зубилу, обтесывал кубик. Неуютное помещение, непривычная работа, упрямый металл... Молоток проскакивал мимо, ударял по руке, и вокруг зубила вся кисть была в крови, в каемочке от сбитой кожи. Подходил мастер, оскорбительно играючи показывал как нужно, металл отскакивал ровными слоями, и от всего этого становилось совсем погано. А потом — не успели оглянуться — покатило с горки: черчение, сопромат, детали машин, военные лагеря, заводские практики, и одна из них, самая памятная — пятьдесят третьего года. В то лето неожиданно, вдруг, расстреляли Лаврентия Павловича Берию — ближайшего друга и соратника великого вождя и учителя, и всех практикантов тут же послали по цехам разъяснять это событие. Костя пришел к литейному цеху, где на затоптанном, плешивом газончике кучками лежали рабочие, и прочитал вслух сообщение в газете, которое они, очевидно, сами уже читали или слышали по радио. «Вопросы есть?» — спросил он, холодея. «А чего ж, раньше не знали, кто он такой?» — заорал чумазый малый в проеденной потом майке и требовательно уставился на Костю, будто именно он, Костя, обязан был знать об этом раньше и принять необходимые меры. «Не знали, — кратко ответил Костя, боясь вступать в длительные обсуждения.

— Еще вопросы есть?» Больше вопросов не было. Рабочие ели хлеб, колбасу, пили молоко прямо из бутылок, — в литейке молоко давали бесплатно, за вредность, — и в их темных руках оно выглядело ослепительно белым. «Всё ясно», — бодро крикнул все тот же малый, и беседа закончилась, хотя никому тогда не было ясно, и докладчику Косте в том числе, и тем, кто послал его проводить беседу, тоже. Но теперь у Кости уже был опыт, и осенью его выбрали агитатором. Ему досталась старая, дощатая развалюха со множеством веранд, пристроек и сарайчиков, примкнутых к основному строению, будто дом распирало от тесноты. По вечерам, когда все жильцы были в сборе, Костя не ходил агитировать — стеснялся. Он приходил днем, после лекций, и вел беседы со старой, расплывшейся еврейкой в широченном фланелевом халате с цветочками, с уныло-обвисшим бантиком на груди. Она готовила обед, устало шаркала шлепанцами из кухни в комнату, из комнаты на кухню, а Костя ходил за нею следом, мешался в тесных проходах и на ходу рассказывал про разрушения военных лет, про восстановление хозяйства, про успехи по сравнению с тысяча девятьсот тринадцатым годом и про ежегодное, первого марта, снижение цен. «Конечно, — машинально поддакивала усатая еврейка, занимаясь делами, думая о своем, уставая на глазах. — Конечно, конечно... Ну, еще бы... А вы как думали?» А потом, вдруг, останавливалась, терла лоб, мучительно вспоминала: «Лук — положила... Морковь — положила... Петрушку... Петрушку я клала или нет?» — «Клали, клали», — подсказывал Костя и опять принимался за свое: про разрушения, про восстановление, про успехи по сравнению... Перед самыми выборами ему подкинули вдобавок к развалюхе здоровенный этаж заводского общежития, где во многих комнатах жило по три-четыре семьи. Сколько кроватей, столько семей. Каждый женился, приводил жену, от-

делялся от соседней занавеской, ел, пил, спал, принимал гостей, рожал детей. Костя пришел туда в первый раз, поглядел на это дело и больше уже не ходил, не агитировал. Так они и проголосовали — несагитированные. К этому времени он уже завел себе новых приятелей, а со школьными друзьями встречался редко, в метро или на улице, с любопытством выспрашивал подробности. Витька Борисенко, сын дворничихи, ко всеобщему изумлению кончил школу с золотой медалью. Даже учителя не могли понять, как это произошло, а он, оказывается, преодолевал одну из очередных преград. Это имело для него принципиальное значение, потому что все, что он ни делал, имело для него принципиальное значение. Поступил не куда-нибудь — в институт восточных языков, изучает не что-нибудь — китайский язык. Оставлен в аспирантуре, подает надежды. Витька не вырос совсем, все такой же хмурый, упрямый, челочка наискосок, шпанистый вид и неожиданные очки в тонкой, золотой оправе. Для него китайский язык, что футбол, где можно доказать свое преимущество с большим счетом. А вечером приходит домой, осунувшийся, с прилипшими ко лбу редкими волосами, и от усталости слова не может вымолвить. Колька Борисенко, Витькин брат, с трудом дотянул до выпускных экзаменов. В последние школьные дни прибавилось у него хлопот: продавал завтраки, занимал у дружков по рублику, по трешке, чтобы накопить деньги — четыреста рублей, чтобы могла его близкая знакомая незаконным способом сделать запрещенный аборт. Витька тоже продавал завтраки, предназначенные для укрепления детского организма, в последний раз выручал брата, хоть и мог Колька официально плюнуть на это дело и ничего бы ему не было по закону. Только сдал экзамены — сразу забрали в армию, в офицерское училище. И эпилепсия не помогла, не обнаружили у него эпилепсии при

ближайшем рассмотрении. Служит теперь в Средней Азии, раз в год приезжает домой, молодежавший, дочерина загорелый, будто лаком покрытый, старший лейтенант. Коротенькая гимнастерка под тугим поясом, щегольские, в гармошку, сапоги, модный, не по уставу, маленький козырек фуражки. Ходит по окрестным дворам, ищет старых дружков, с которыми когда-то в подворотне торчал, кирпичами кидался — „На кого Бог пошлет”. А дружки остепенились, дружки — кто где, у дружков жены-дети. Один Колька холостой, гроза женщин. „Недолго билась та старушка в гусарских опытных руках...” Рыжий Вячик, зубрила несчастный, получил свою золотую медаль. Хотел Вячик поступать в университет, но мама отговорила. Боялась мама, что в университете будут больше приглядываться к анкетам. Сыну „врага народа” нужен институт попроще. Во время выпускных экзаменов взяла мама отпуск, сидела с Вячиком за учебниками, проверяла, натаскивала, задавала хитрые вопросы. Она к тому времени всего уже боялась, — нервная и раздражительная до истерики, до тупых болей в затылке, — потому что вплотную подошел тот момент, когда на практике надо было проверить, отвечает ли ее сын за ее мужа. Мечтал рыжий Вячик стать великим физиком, мама настояла — пошел в строители. Зато в тихом институте про отца не припомнили. Рэм Сорокин, студень, желе, отвратный тип, вытянулся за последние классы, обогнал ростом почти всех, начал бегать в тренировочный зал „Спартака”. Тощий, узкоплечий, кисти рук висели почти у коленок, а сами коленки толще ног. Пророчили ему тренеры великую будущность, ходил он гордый, свысока презрительный, на переменах подпрыгивал, доставал до плафонов, резко рубил рукой, будто гасил мяч, и повсюду таскал чемодан, а в нем пара тетрадей и спартаковская форма. Сдал кое-как экзамены, получил аттестат и сразу уехал на

сборы. Сколько лет с тех пор прошло, а он все на сборах. Тренируется и играет, играет и тренируется. Приняли его между делом в институт физкультуры, втянули за уши спортивную знаменитость. Как не принять? У него удар — все блоки прошибает. Раздался в плечах, ноги — пружины, одевается с иголки, в руках саквояжик: встретишь — не узнаешь. Он сам всех узнает, кидается радостно, расспрашивает про успехи. Очень, видно, это его беспокоит, хоть и обладает он знаменитым ударом, о котором в газетах пишут, и объездил уже многие страны. Все грозитя Рэм Сорокин взяться за учебу, перейти на второй курс, да некогда. Тренировки да игры, игры да тренировки... Студент первого курса, спортсмен-любитель. В десятом классе поразил всех Карл Беркин, „Карлоны бырл-бырл, а берлоны кырл-кырл”. Сидел он и грустил, грустил и сморкался, а потом, вдруг, упросил свою маму купить ему дешевое одноствольное ружье Ижевского завода. Зарядил патроны дробью, седьмым номером, третьим, картечью на волка, разрывной пулей „Жакан”, с которой ходят на медведя, и молча бродил по подмосковным лесам, выныривал из кустов, пугал мирных дачников, высматривал дичь грустными своими глазами. „Карл, — говорил шокированный дед. — Чтобы внук раввина ходил, как разбойник, по лесу... Пфуй!” „Ну и что? — резонно отвечал Карл. — Я же ни в кого не стреляю”. Потом стрелял в белку, в сороку, в стайку реполовов на кусте бузины. Убил одного реполова, ощипал, поразился крохотности его, поджарил на костре, брезгливо откусил кусочек полусырой дичи и потерял к этому делу всякий интерес. С тех пор ружье мирно висит на стене, и перед праздниками мама смахивает с него пыль, все равно как со старого отцовского патефона с набором веселых пластинок, которым не пользовались с самой войны — не было причин. А жилище бедного раввина неожиданно приоб-

рело воинственный вид, особенно когда библейский старик с белой бородой и красными слезящимися глазами сидел под этим ружьем и клеил коробочки для аптекарских товаров. Сейчас доклеит последнюю коробочку, возьмет в руки оружие и поведет свой народ по пустыне. После школы Карл Беркин пошел в финансовый институт. Ходил на занятия со школьным дермантиновым портфельчиком, сидел всегда один, ни с кем не заговаривал, только шмыгал носом да грустно смотрел на лектора. Вдруг, что-то опять в нем сработало, и пошел Карл Беркин в секцию моржей. Меланхолично раздевается на морозе, уныло шлепает босыми ногами по скрипучему снегу, медленно, по-собачьи, плавает в ледяной воде, задрав голову кверху. Другие вскрикивают, ухают, крикают, бегают после купания, чтобы согреться, а он вытирается полотенцем и сразу уходит домой, будто не получает от этого никакого удовольствия. По вечерам сидит у окна, смотрит на улицу, думает о своем. Живет человек в сторонке, сам по себе, а почему так — никому нет дела. „Карл, — говорит теперь мама, потому что дед-раввин уже умер, похоронили деда в Востряково, на еврейском кладбище, — шел бы ты на бульвар, Карл, подышать свежим воздухом”. „Зачем? — резонно отвечает Карл. — Что там, что тут — воздух один”. Толик Степанов, очень проворный молодой человек с постоянно озабоченным лицом и деловитыми морщинками на лбу, стал в конце концов секретарем комитета школы. Сидел рядом с директором на педсоветах и в президиуме, пропускал уроки по важным общественным делам, вел собрания, говорил гладкие речи: „В ответ на заботу нашего великого и мудрого...”, на заседаниях комитета строго опрашивал принимаемых в комсомол: „А ну-ка, скажи, кто у нас председатель коммунистической партии во Франции?” „Морис Торез”. „Правильно. А с чем должен бороться комсомолец?” „С пьянством,

хулиганством и нетоварищеским отношением к женщине”. „Тоже правильно. Кто за то, чтобы...” После школы Толик Степанов пошел в медицинский. Уговорили папа и мама, старые рентгенологи. Все студенческие годы бегал по институту с этажа на этаж, занимался общественными делами по профсоюзной линии. Бурлил человек, вкладывал себя без остатка в любимое дело. Стал врачом, пошел работать в горком профсоюза. Раздался, потолстел, глазки-точечки. Шариком прыгает по поликлиникам, осуществляет надзор, проводит мероприятия. Может достать любые лекарства, может положить в любую больницу. Работник аппарата. Человек в своей стихии. Работа по призванию. А что людей не лечит, так и это к лучшему. Куда ему лечить с его-то знаниями! Только увеличивать процент смертности. Леонард Вахмистров, царь царей, король королей, правитель государства петиханского, поступал после школы в художественное училище. Сказали ему, что рисует бойко, но талант не оригинальный, а явно подражательный. Обиделся Леонард на весь свет, и забрали его в армию. Служил в авиации, летал на фронтовом бомбардировщике ИЛ-28. Спереди, в кабине, два офицера — пилот и штурман, а сзади, в хвосте, он — Леонард Вахмистров, рядовой стрелок-радист. С рацией и пушкой. Высматривал цель ироническими своими глазами. Ракета — и весь полк запускает двигатели. Ракета — и весь полк вырывается. Ракета — и на взлет. А до этого, по привычке, экипаж уходит к хвосту, облеγχается по малому делу. Традиция. Чтобы в воздухе не подперло. Офицерам в кабине хорошо, их не болтает, а Леонард Вахмистров телепается в хвосте вверх-вниз, зуб на зуб не попадает. Сколько раз его выворачивало, сколько раз по прилете своими руками кабину отмывал — вспоминать, и то тошно. Вернулся из армии, кончил исторический, уехал на Север, экскурсоводом в краеведческий музей. Зар-

плата — копейки. Чтобы прожить, надо заводить огород, кур, свиней, может, даже корову. Для заработка начал рисовать изошутки, посылал по почте в журналы. Повесили в их городишке плакат: „Превратим наш город в самый благоустроенный город мира!“ Не района, не области, — чего там стесняться? — сразу целого мира. А сам городишко пыльный, грязный, неприглядный, задача взята явно не по плечу, и может, поэтому никто ничего не делает. Им бы просто его почистить, безо всяких лозунгов, да неохота: масштабы не те. Леонард обыграл это в изошутке, в Ленинграде напечатали. Местные намек поняли, обиделись, в свою очередь намекнули, что не обязательно ему отсиживать у них положенные три года, они и без него справятся с поставленной задачей. Вернулся Леонард в Москву, нигде не работает, ходит по редакциям с большой папкой, показывает изошутки. Свободный художник, Леонард Вахмистров, перебивается с хлеба на квас. Леша Костиков, морячок, собирался после школы в высшее мореходное училище. Батя — капитан дальнего плавания, у бати — крутом дружки. Но случилось с батей непредвиденное. Шли они из Марселя в Одессу, и в Босфоре какой-то дурак-матрос упал с кормы. То ли упал, то ли прыгнул. Пока остановили корабль, да пока спустили шлюпку, исчез матрос. То ли утонул, то ли к туркам уплыл. Если утонул — Бог с ним, а если уплыл?! Списали батю с корабля, ходил батя по внутреннему Азовскому морю, занимался мелким каботажом. Не попал Леша в мореходку, взяли Лешу в армию, в стройбат. Служил далеко, на Крайнем Севере: двенадцать месяцев зима, остальное лето, лето, лето... — даже надоедает. Работал сварщиком, таскал баллоны с кислородом. Два года таскал — и ничего, а на третий нескладно поднял баллон — и в госпиталь. Паршивое дело — смещение позвонков. Списали его из армии, взяли подписку, что не видел ничего и разглашать не

будет, — а он и так ничего не видел, дальше стройки не пускали, — и поехал Леша домой. Работал сторожем, работал вахтером, — молодой, да хилый, без сил — желаний, на девочек равнодушно глядел, — а потом один старичок-доктор насоветовал ему пойти в магазин, в мясной отдел. Он послушался и пошел. Потолстел Леша, мясного духа нанюхался — лицо красное, что парная телятина, — и сразу женился, сразу родил близнецов. Теперь Леша веселый, обходительный, с покупателями шутит: „У нас мясо двух сортов. Хорошее и получше“, старичку-доктору посылает на дом вырезку, лучшие филейные части. Только с одноклассниками встречаться не любит Леша Костиков. Увидит издали — на другую сторону перейдет. Многие из класса разбежались, разъехались, расплзлись кто куда. Последний раз, уже старшекурсниками, собирались они у Вовки Тимофеева. Как и прежде, его мама напекла пироги, хворост, ребята пили вино, чай, слушали, как демонстрирует дикцию захмелевший папа, как мама в который уж раз вспоминает про Вовочкино детство. Поздно вечером они сложили в пакеты печенье и хворост, пошли гулять. Ходили по улицам, пели песни, сытые и разомлевшие от вина, чая, сладких пирогов. На Кропоткинской площади заметили тощую, пугливую собаку, обступили кругом, кормили печеньем, хохотали. Собака только разохотилась, только вошла во вкус, как откуда-то из темноты подворотни высунулся маленький человечек в протертом демисезонном пальто, в ушанке, завязанной под горло тесемочкой, в черных, подшитых валенках. Он подошел поближе, разглядел, что они делают, тихо попросил: «Зачем собаке? Лучше мне дайте...» Они захлебнулись стыдом и отдали ему все пакеты, всё печенье, весь хворост. «Я не себе, — говорил человечек, прижимая пакеты к груди. — Я ребятишкам. Побаловать...» И ушел обратно в темную подворотню, шаркая по асфальту подшитыми

подошвами. Сразу расхотелось пить, стало зябко от ветра, который задувал с Москвы-реки, из-за огромного забора вечного строительства неначатого Дворца Советов, и они тихо разошлись по домам. А наутро, придя в институт, Костя увидел пустой постамент. Еще вчера стоял на нем огромный Сталин в длинной, до пят, шинели, и его часто белила одна и та же женщина в замызганном халате, ковыряя мочалом на длинной палке в гипсовой ноздре, а сегодня он исчез без следа. Говорили, что ночью подъехал автокран, неопытный в подобных делах крановщик подцепил тросом за голову и, конечно, тут же ее оторвал. Обезглавленную статую увезли на грузовике, на постамент поставили глиняную вазу. Стоял Сталин, великий вождь и мудрый учитель, теперь стоит ваза. Жизнь хороша своими переменами.

6

Жизнь хороша своими переменами.

— Пошли! — командует Толя Кошёлкин. — Будем действовать.

Залпом допивают молоко, с грохотом отодвигают металлические стулья, торопливо идут обратно, по горячему солнышку, под голубым небом, в постылый отдел, и Толя Кошёлкин сразу бежит к секретарше — не звонил ли кто? — дарит коробку конфет, купленную в буфете, вскладчину: даже Рита Колчина, и та участвует в совращении секретарши. Говорит, недавно звонили. Кто это, говорит, тебе звонил? Это надо же: только начал соблазнять, ничего еще от нее не добился, а она уже ревнует!

Ребята стоят в дверях, на свои места не идут, а перед ними общий зал, сплошь заставленный старыми, разнокалиберными столами и тяжеленными, неуклюжими станинами кульманов. Столы одному-

бовые, двухтумбовые, темные, светлые, разошедшиеся, заляпанные тушью и чернилами, стулья любых видов и фасонов — склад подержанной мебели, — изредка, пятном, новый стол или стул светло-желтого лакированного дерева, и повсюду папки с чертежами, кальки, листы ватмана. Стойма стоят на подоконниках, висят на веревочках за чертежными досками, пылятся приколотые к кульманам. Душно, жарко, шумно, как на вокзале, — не сосредоточишься, — теснота невообразимая, над головами с угрозой для жизни свешиваются чугунные противовесы, и от стола к столу нужно пробираться боком, отчего беспрерывно рвут женщины нежные капроны производства Тушинской чулочной фабрики и безуспешно бегают по магазинам за прочными немецкими.

Когда-то это была маленькая группа, теперь — солидный отдел. Создайте сегодня на пустом месте организацию — завтра она уже не будет справляться с работой и оттого неумолимо начнет расширяться. Начальник отдела хитрее хитрого, осторожнее осторожного. В ошибках не признается никогда, хоть режь. Даже когда прижмут, не признается. Любит обвинять других и задолго до любого срока заводит особую папку, куда складывает документы, оправдывающие задержку. Задержки может и не быть, но документы не помешают. «Во всем виноваты они. Мы тут ни при чем». Кто они — это неважно. Главное, что мы ни при чем. Если из цеха попросят что-нибудь изменить, ответ никогда не дает сразу. «Мы прорисуем, — обещает. — Мы прочертим». А там, глядишь, в суматохе и позабудут. «Никогда никому ничего не обещай. Обещал — не выписывай. Выписал — не подписывай. Подписал — откажись». Только так. Главное для начальника, чтобы план был большой, убедительный, — пока составит, голову ломает, выдумывая, — и конечно же, обязательство: выполнить план к двадцать восьмому числу, в феврале — к двадцать седьмому.

Бывают иногда авралы, когда все по цехам разбегаются, до ночи на заводе торчат, а потом затишье, сидят, как пожарная команда, ждут сигнала. Машина давно в серии, вопросов почти нет. Работает — и ладно. Лучшее — враг хорошего. Но при каждом аврале бежит начальник к директору завода, кричит, что не справляется, что работы невпроворот, просит подбавить инженеров. Вот и сидят инженеры плотными рядами — плечо к плечу, — вносят в чертежи незначительные изменения, скоблят кальку бритвочками, заливают потертое место эмалитом, чтобы не расплылась тушь. Теснота в зале несусветная, воздух — не продохнешь, а начальник отдела вылезает по вечерам из кабинета, переставляет столы и стулья, выкраивает место еще для одного инженера. Очень он любит это занятие, свидетельствующее о неуклонном росте отдела, а наутро приходят сотрудники, бродят по залу, ищут свои столы, ждут — не дождутся, когда же, наконец, произойдет полное насыщение зала инженерно-техническим составом.

Когда ребята пришли из института и разобрались что к чему, зашумели, заругались с начальством, кричали на собраниях такое, что старики от испуга жмурились, неодобрительно качали головами. Молокососы, мальчишки, без году неделя... Скучно им, видите ли, работа неинтересная... Работа — не цирк. Интересса ждать нечего.

И тогда Саша Терновский торжественно объявил забастовку. Приходил ровно к началу, садился за пустой стол, складывал перед собой руки и спокойно сидел до обеда, смотрел на плакат «Все в ДОСААФ». Пообедав, садился опять, изучал плакат дальше, ждал конца работы. Два томительно долгих месяца он ничего не делал — это же надо такое выдержать! — и начальник отворачивался, проходя мимо, потому что не было у начальника опыта борьбы с забастовщиками. «Я конструктор, — говорил Саша. — Дайте

конструкторскую работу». Его стыдили — он улыбался. Ему грозили — он составлял график загрузки отдела: сколько работают, сколько курят, сколько разговаривают — и получалась жуткая картина. Его оставляли в покое — он опять сидел за столом, положив перед собой руки. Со всего завода бегали люди поглазеть на невиданное чудо.

Потом ребята успокоились, на время смирились и лениво стали делать то же, что и все. Только премию вначале стеснялись получать, а теперь привыкли и ворчат вместе со всеми, что мало дают. Саша поставил стол к стене, отгородился кульманом, чтобы со стороны не было видно, чем он занимается. То ли спит, то ли работает, то ли книжку читает. Достал чековую иглу, в конце каждого дня отрывал календарный листок, со вкусом накалывал. Потом стал накалывать в начале дня. День только начался, а он его уже наколот. Осталось шестьсот пятьдесят девять дней, шестьсот пятьдесят восемь, шестьсот пятьдесят семь... «Прихожу на работу, а она горит!» Мечта...

7

Скоро обед, и разминая на ходу папиросы, потянулись в курилку мужчины, собрались в кружок, чтобы в тихой беседе выкурить последнюю, предобеденную, чтобы подготовить желудки к принятию пищи. В центре группы стоит уважаемый человек, Петр Семенович Лобода, с лицом и манерами крупного ответственного работника. Петр Семенович выкуривает в день по две пачки «Беломора», и его всегда можно застать в курилке. Прокурился насквозь, до сипа, до жесткого ночного кашля: чем меньше работы, тем хуже для здоровья. Петр Семенович всегда стоит в центре группы, будто знает что-то очень важное, чего не знают другие, и от того у него небрежная

снисходительность в разговоре, которая смущает неуверенных в себе людей. Петр Семенович — опытный человек. Если ему дают задание, первым делом он пытается доказать, что эту работу выполнять не надо. Если это у него не получается, пытается свалить ее на другого. Если и это не получается, не торопится выполнять приказание начальника, ибо его могут еще отменить. Поэтому любую работу он делает сначала тихо, а уж потом... тише, тише и тише... Петр Семенович по должности техник, ведет группу крепежных деталей и прилагаемого к изделию инструмента, но в душе он — человек искусства, и весь этот крепеж и прилагаемые к изделию инструменты глубоко презирает. Он регулярно посещает кино и театры, выписывает польский журнал «Экран» с портретами мировых кинозвезд, играет в заводском театральном коллективе положительных персонажей и отрастил на мизинце левой руки длинный ноготь, который холит и лелеет. Петр Семенович любит делать те дела, которых от него не требуют, и не любит делать те дела, которых от него требуют. Сразу после войны мастерила он золотые кольца из меди с брильянтами из плексиглаза, и эти кольца ходко шли на рынке, радуя покупателей своей красотой и дешевизной. Он вынес с завода дефицитную хлорвиниловую пленку, склеил из нее матрац, накачал велосипедным насосом и с комфортом укладывается на ночь, восхищая жену, детей и многочисленных соседей. Он не пожалел времени, многие годы изучал методы гипнотических сеансов, в обед гипнотизировал желающих, и они выполняли несложные его команды, пока начальник отдела, известный перестраховщик, не запретил ему категорически. Завод режимный, выпускает ответственную продукцию, — мало ли что может натворить человек, обладающий таким опасным свойством: загипнотизировать вахтера в проходной, рабочего у станка, директора в кабинете. Петр Семенович очень обиделся

на начальника, мучеником ходил по отделу, но если бы его основной работой, за которую платили деньги, был гипноз или склеивание матрасов, он наверняка бы не делал ни того, ни другого, а занимался бы крепежными деталями и прилагаемым к изделию инструментом. Петру Семеновичу Лободе уже под пятьдесят, у него жена, трое детей, живут они довольно скудно, и мог бы он при своих золотых руках подработать на стороне починкой примусов, керосинок и водопроводных кранов, но Петр Семенович давно уже не опускается до этого, а лежит после работы на своем знаменитом матрасе и философствует. Жена слушает, дети слушают, — очень они родителя своего уважают, не пропускают ни одного спектакля с его участием, — а он им содержание фильмов рассказывает и свое к ним отношение. После длительного воздержания, когда на экранах долгими месяцами подряд шел „Белинский”, а за „Белинским” — „Мусоргский”, а за „Мусоргским” — „Жуковский”, как грибы, стали возникать кинолектории с показом старых лент, зрители с боем достают абонементы, и Петр Семенович тоже приобщился к мировому киноискусству. Ходит с удовольствием, смотрит с интересом, а на другой день делится в курилке своими впечатлениями, замечаниями и конкретными предложениями по улучшению фильма.

— А у этого миллионера, — рассказывает Петр Семенович важно и значительно, обминая очередную папиросу бурыми от курева пальцами, — была жена, сумасбродная красавица-графиня. Едут они как-то на личной яхте по Средиземному морю, и решила эта самая графиня искупаться, невзирая на акул и прочие морские опасности. Выходит она, можно сказать, ни в чем на верхнюю палубу, а капитан яхты, красавец-блондин...

Сидит на подоконнике Дима Шувалов, мощный малый, — шея шире головы, — слушает рассказы Петра Се-

меновича про шикарную заграничную жизнь, и находят они отклик в его тонкой, отзывчивой душе. Он и сам ходит на бега, изучил конюшню, знает верных людей, которые шепнут при случае про темную лошадку, и от этого имеет малый, но верный доход. Когда выигрывает много, садится в такси, две пустых машины с включенными счетчиками позади катят, а он развалится рядом с шофером, на зависть соседям подлетит к дому, швырнет небрежно кушору: „На всех!“ Дима Шувалов — человек невозмутимый, для него главное — здоровье, здоровье и здоровье, и потому сидит он на подоконнике, спустив рубашку и подставив крутые плечи жгучему солнцу. Даже когда солнце уходит, одна узенькая полоска на подоконнике, он и тогда загорает. Положит палец на полоску, палец и загорает. А еще он ходит за цеховые корпуса, к забору, где высокая трава-бурьян и яма, заваленная сеном: санаторий имени Семашко. Там никто не заметит, никто не найдет. Даже когда тренировались рядом заводские пожарники, залили яму водой, он и тогда из нее не вылез, местоположение ямы не выдал. Зато каждой весной все вокруг белые-белые, а он будто с курорта вернулся. Дима Шувалов отслужил срок в армии, но и там много не шевелился, в любом месте, при первой возможности расстегивал ремень и укладывался на землю для накопления сил. Что в грязь, что в песок. Перекур с дремотой. Только крикнут „Разойдись!“, а он уже лежит, кимарит. Для накопления сил и сохранения здоровья Дима Шувалов занимался в армии боксом и штангой, воротился домой с двумя значками третьего разряда на гимнастерке. У Димы удар — быка свалит. Ему бы еще тренироваться, да для здоровья достаточно, а для чего другого — ему не надо. Кто Диму знает, никогда с ним не связывается, а кто не знает — долго потом помнит. „Вчера, — говорит, — дал одному, а потом ходил извиняться. Не за то, что дал, а

за то, что у него вся морда набок съехала”. Дима — человек не гордый, он даже удовольствие получает, этакое профессиональное удовлетворение, ежели ему самому прилично заедут. И еще ко всем приглядывается, присматривается, будто людей коллекционирует: „Таких, как ты, я бил. И таких бил. И таких. А таких, вроде, не бил...” И смотрит внимательно, щурит глаз, будто прикидывает, выбирает верное место, куда можно вдарить. Только Сашу Терновского он игнорирует. Саша — мужчина хилый, для солидного боксера интереса не представляет. Дима Шувалов прекрасный чертежник, работает быстро, красиво, проекции у него выпукло-объемные — всем на удивление, — но не могут ему предоставить нужного количества работы для заполнения рабочего дня. Потому и сидит он в курилке, загорает на солнце, не желает притворяться, как это делают другие, хоть и притворяться-то глупо: всем вокруг известно, что отдел разбух и работы на всех не хватает. „Шел бы ты учиться”, — советуют Диме добрые люди. „Погожу, — отвечает. — Я еще не отдохнул”. И кулаком бьет по кулаку.

— И этот самый фокусник, — рассказывает Петр Семенович, затягиваясь со всхлипом, до самой глубины, — открывает обыкновенный ящик, кладет туда графиню, хлопает крышкой и начинает перепиливать...

Дверь от толчка — настезь. На пороге -- Славка Малютин.

— Семеныч, кончай трепаться! Подумаешь, фокусы... Жрать захочешь — научишься.

Петр Семенович сразу смолкает. Славка Малютин будет говорить сам и другим говорить не даст. Нечего на это и рассчитывать. Такой хам — можно подумать, что притворяется. Хам, нахал, горлопан и рвач. Ничего святого у человека. После института Славка попал в контору по наладке автоматики. Их пришло

трое с одного курса, но он один был высокий, здоровый и горластый, и его сразу же назначили старшим инженером, а тех двух — просто инженерами, потому что начальник конторы был еще погорластее Славки и по личному опыту считал, что только здоровые и горластые могут руководить и пользоваться уважением у подчиненных. Первым делом Славке досталось налаживать автоматику на винно-водочном заводе. Он быстренько отладил, все были довольны, а потом раз в неделю начала соскакивать нужная пружинка, автоматика портилась, и его вызывали для ремонта, после чего благодарно угощали изделиями собственного производства. Частые поломки Славка объяснял тяжелыми условиями работы автоматики в особой атмосфере винно-водочного завода. Долго он ходил туда сам, а потом протрепался друзьям, и они стали ходить по очереди, восхищаясь Славкиной выдумкой, и наверно, ходили бы вечно, но однажды, когда все были в разгоне, туда послали непосвященного, который и закрепил намертво нужную пружинку. Через месяц очередь взволновалась, никто не понимал, почему завод не вызывает специалистов, и тогда Славка поехал туда сам, в порядке надзора за автоматикой. Нужная пружинка снова начала соскакивать, и очередь истосковавшихся специалистов сдвинулась с места. Все было хорошо, но Славке стало тесно в конторе, и он перешел на завод. Перешел, осмотрелся, предложил начальству создать проблемную лабораторию. Проблемную лабораторию создавать не стали, — единственной проблемой, которой она могла бы заниматься — это проблема, чем занять ее работников, — но Славку заметили, отметили его пробойный характер и вскоре сделали начальником группы оформления и согласования. Катается по организациям, утрясает и согласовывает, громит и обличает, и, как правило, добивается своего, потому что берет на

горло и не каждый способен выдержать его натиск. Славка Малютин слаб в инженерном деле и в спорах старается не доводить до конкретного. Но зато в деле оформления цены ему нет. Рисуют изделие акварелью или масляной краской, с тонами и полутонами, в хитром ракурсе, на фоне индустриального пейзажа, и директор завода под такую убедительную картинку рапортует где надо про заводские успехи, пробивает нужные деньги. Потому что это конкретно. Потому что это впечатляет. Изделия может еще и не быть, но картинка обязана быть хорошей. „Группа марафетчиков” — зовут Славкиных бандитов, а он не успокаивается на достигнутом, ищет потихоньку новое место, хочет переходить в большие начальники. Только сложно это. Больших начальников со стороны не берут. Большие начальники везде свои есть.

Теперь в центре круга стоит Славка Малютин, анекдоты рассказывает, а все ржут, и даже немые улыбаются, хоть и мало что понимают. Пришли немые год назад, встали рядом за свои кульманы и начали без передыху работать. Золотые ребята эти немые: не курят, не разговаривают, посторонними делами не занимаются. Начальник бригады голову себе сломал, чтобы загрузить их на весь день, у других задания отбирал, а они сделают дело, подходят к его столу, молча другую работу требуют, будто издеваются. Не хотят они понять, — да и не втолкуешь никак, — что нет у него столько работы, нету!.. Хвалили их, захваливали, с доски почета не снимали, и вдруг, оба враз подали заявления об уходе. Как они в другом месте договорились — неизвестно, и куда уходят — неизвестно тоже. Молчат. Зато стоят теперь в курилке вместе со всеми, ждут конца положенных двенадцати дней. Смотрят Славке Малютину в рот, и когда все хохочут, они улыбаются.

Пришел в курилку Славка Малютин, — и все

умолкли. Стоят, курят, а Петя Демидович, некурящий, дым нюхает. Скучнейший человек Петя Демидович, шуток не понимает напрочь, но считается не скучным, — как это часто бывает, — а серьезным. У него прямые, лоснящиеся волосы, унылое, землистого цвета лицо, широкие бедра и походка, как у верблюда. Врачи советуют Пете побольше есть овощей и фруктов, и он все лето, с ранней весны, жует лук. В столовую не ходит, а приносит в пакете завтрак: бывшая французская, а ныне, после борьбы с космополитизмом, городская булка разрезана пополам, намазана маслом, кусок колбасы засунут между половинками и гигантский пук лука. Ест булку, не вынимая из пакета, выдвигает ее по мере съедения, откусывает низко, у самой бумаги, и со стороны кажется, будто ест он ее вместе с пакетом. Аккуратнейший человек Петя Демидович. У него одна щетка для стряхивания пыли по много лет служит. А новые, сэкономленные щетки, он постоянно домой относит. Исполнительнейший человек Петя Демидович. Написано «Стойте» — стоит. Написано «Идите» — идет. Ничего не написано — ничего не делает. «Вход» — входит, «Выход» — выходит, «Переход» — переходит. Даже если не надо на другую сторону. На столе у него толстое стекло, а под стеклом высчитанная им самим таблица, написанная тушью, любовно, каллиграфически, по которой сразу видно, на какие дни недели приходится первое мая и седьмое ноября до самой его пенсии. Петя — инженер, тоже кончал институт, — а кто его теперь не кончал? — но инженерным делом заниматься не способен. Так богата человеческая природа, что для любого места найдется человек, который ему соответствует. Петя Демидович соответствует своему месту. В прошлом году выбрали Петю в профсоюзные вожди и долго потом мучались от его добросовестности. Первым делом, начитавшись каких-то брошюр, он произнес на собрании речь об отношении к работе. На работу медлен-

но, а с работы бегом — это неправильно. Это означает, что ты с неохотой идешь туда и радостно бежишь обратно. На работу бегом, а с работы медленно — тоже неправильно. Это означает, что после работы тебе делать нечего, тогда как ждет тебя — не дождетя школа, институт, театр, музей. Туда бегом и обратно бегом — вот это правильно. Это по-нашему! Когда Петя изложил свои взгляды изумленному собранию, даже самые недоверчивые усомнились в его умственных способностях. А ведь он просто последовательный человек. А последовательный человек очень опасен, особенно когда он последовательно идет не туда. В этом году Петю никуда уже не избрали. Теперь он такой же, как все, и никакие проблемы его не интересуют. Все курят, а он стоит рядом, нюхает.

Заходит в курилку «Стяпан Стяпаныч», прикуривает у Славки Малютина — ближайшего по должности, — уходит в коридор дымить в одиночестве. Негоже ему при его-то ранге с простыми сотрудниками лялякать. «Стяпан Стяпаныч» — номенклатура, старый общественный работник. Много лет терся при разных организациях — от «ДОСАРМа» до спортклуба, — потом споткнулся на чем-то, переизбрали, прислали в отдел начальником над двумя столами. А почему бы и нет? Он универсал. У него нет никакой специальности, поэтому его можно посылать начальником куда угодно. «Стяпан Стяпаныч» посидел, покомандовал двумя столами, пошел на курсы по усовершенствованию. Чего — неважно. Главное, на курсы. А после курсов он уже усовершенствованный и два стола ему мало. Даже неудобно предлагать два стола. До курсов два и после курсов два? Минимум, — пять. Дали ему пять столов. «Стяпан Стяпаныч» посидел, покомандовал, дождался разрядки в промакадемию. Хорошего работника жалко от дела отрывать, а его — пожалуйста. Послали его. Кончил

академию, вернулся на родной завод. Пять столов разве ему предложишь? Смешно... Сделали заместителем начальника отдела. Сидит в отдельном кабинете, смотрит в окно, газету читает, сушки грызет. Очень он любит сушки, каждый день вязочку приносит. Стол у него пустой, чистый, ни бумажки. Его дело — стенгазета, премия, обязательство, график отпусков. Здесь он в своей стихии. Стоит только поглядеть, как «Стяпан Стяпаныч» ведет собрание, как объявляет повестку дня — гурман! На первое — доклад, на второе — прения, на третье — разное... Над столом у него приколот большой лист ватмана, красным по белому заповеди бригад коммунистического труда, и сбоку — галочки, черточки, восклицательные знаки, чтобы чувствовалась работа, и один вопросительный знак, будто что-то непонятно. «Стяпан Стяпаныч» — стреляный воробей, его на хромой кобыле не объедешь.

Вдруг, через стенку пение слышалось. Манюня в туалете поет. Здесь мужчины курят, анекдоты рассказывают, а там женщины причесываются, губы красят, к обеду готовятся. Манюня песню поет и в зеркало смотрит, как проступают через прозрачную кофту роскошные формы. Когда есть на что поглядеть, трудно оторваться. Было недавно в „Вечерке“ объявление: „Всесоюзному дому моделей требуются манекенщицы сорок шестого, сорок восьмого и пятьдесят четвертого размера третьего и четвертого роста”. Манюня прикинула свой рост, свои возможности, одолжила у подружки, на всякий случай, итальянский купальник, пошла показываться. Но ее не взяли. Забраковали ее сразу же, даже до купальника дело не дошло, потому что толстые, бутылками, ноги, большая грудь, широкая кость, — полная фигура без очерченной талии, — и не соответствует Манюня повышенным требованиям, которые предъявляются к манекенщицам, и нет у нее утонченной элегантности.

Дураки они там, в этом доме моделей, ничего в женщинах не понимают. Она когда по улице идет — грудь вперед, бедра на стороны, — все мужики вздрагивают. Так для кого же они там, в этом доме, женщин отбирают? Для себя или для народа? А что касается утонченной элегантности, откуда она у нее возьмется, ежели мать у Манюни — прачка, отец — сторож, и живут они в доме барачного типа, на пятнадцати метрах вповалку: она, мать, отец, две сестренки, — а на весь длинный, утыканный дверями коридор один битый умывальник, да и тот на кухне. Отец после полочки возвращается пьяный, бурчит в дверях: „Мать золотая, еле дополз...” Потом всю ночь сам не спит и другим не дает, а вслух жизнь свою вспоминает: „Когда я в чайной работал, на каждом пальце по чайнику носил”. Лезет в шкаф, показывает, бьет посуду, и успокоившись, поет под гитару романс собственного сочинения: „Потому что сердцу не хватает перцу...” Соседи в стенку стучат, соседям с потемок на работу, а мать выбегает в коридор, кричит привычно: „Люди добрые! Уймите моего дурака!” Живет Манюня бедно, деньги матери отдает, и еда у них круглый год — картошка с соленым огурцом. А она молодая, видная, у нее тело хорошей еды, красивой одежды просит. Хочется одеться, как другие, вкусно поесть, съездить к морю, искупаться. Чем она хуже? Потому и ходит за ней по заводу дурная слава. Говорят, что Манюня — широкая натура, не умеет отказывать. Только угости, только подари, а нет ничего — приласкай. А она и сама не скрывает. «Мне, — говорит, — лишь бы до Крыма доехать. А там прокормят...» Наскребет денег на дорогу и едет. На пляж выйдет, платье скинет — отбою нету. А она смелая, она каждому прямо в глаза смотрит. Веселая Манюня, никогда не унывает, имеет свою заветную мечту выйти за офицера с большой звездой, и выйдет, наверно, и

поедет с ним куда угодно, хоть на край географии. Покоренный ее прелестями, сватался к Манюне отставник, степенный мужчина с дачей и участком в гектар, да она за него не пошла. «Понимаешь, — говорила каждому, — ежели я замуж выйду, то завяжу с этим делом. А этот со своим гектаром разве способен?» Сходила к нему пару раз. «Не, — говорит, — не способен». В этом году поступила Манюня в институт на заочное отделение, ходит порой на лекции, задания делает. Их с завода много поступило, так она у тех списывает, экзамены на троечку сдает. Когда с первого захода сдаст, когда с третьего. Знаний не было, нет и, наверняка, не будет, но инженером станет, если, конечно, институт не бросит. Она не бросит. Она не дура.

Время идет к звонку, мужчины в курилке гасят папиросы, но тут медленно открывается дверь, входит Зубков, старый, седой, морщинистый. Зубков дольше всех работает на заводе, еще с довоенных времен. Его растормошишь — он расскажет, как размещалось когда-то на территории конструкторское бюро, а главный конструктор, все его заместители и половина начальников отделов были заключенные, жили при заводе в бараке с решетками — он и сейчас стоит, тот барак, и решетки целы, — и в кабинете у главного конструктора сидел неотлучно солдат, и домой их не отпускали, и вольным было стыдно и тоскливо прощаться с ними по вечерам: весь день они работали вместе, над одним делом, а вечером эти ехали домой, а тех вели в барак. Рассказывает об этом Зубков робко, неохотно, с застарелым испугом: то ли можно уже говорить, то ли еще нельзя, а может, наоборот: то ли еще можно, то ли уже нельзя. Старик Зубков — человек скромный, незаметный, обремененный семьей и заботами. У него и жена, и дети, и внуки, и живут они все вместе в деревянном домике на Пресне, а домику тому сто лет. От постоянного детского крика не вы-

сыпается Зубков и потому часто спит на работе с карандашом в руке. Уткнет карандаш в чертеж, глаза рукой прикроет, а со стороны кажется, будто и не спит он вовсе, а задумался над очередной технической проблемой. Давно уж — многие годы — стоит Зубков в очереди на жилье, но никак ему не дадут: есть более нуждающиеся. Сколько лет ничего не строили, и как-то обходились, и получение — не квартиры — комнаты — было делом чрезвычайным, а нынче начали много строить, и все заволновались, заторопились пожить в нормальных условиях, потому что сейчас только поняли, как они живут. А завод огромный, нуждающихся — пропасть, в первую очередь барачным, подвальным да больным, а у Зубкова, как-никак, собственный дом, и хоть давно уже обследовали его жилищные условия и даже в акте записали, что старший сын с невесткой спят на полу под столом, каждый раз находятся более нуждающиеся, да и Зубков, человек тихий, постоять за себя, покричать где надо не может. Когда приезжал на завод министр, один слесарь со сборки подкараулил его, встал поперек дороги, рассказал про свои жилищные бедствия. «Надо дать», — сказал министр. И дали. Так ведь надо еще на такое решиться, да и нуждающихся столько, что ежели каждый будет останавливать, ни у какого министра времени не останется.

Зубков медленно, лунатиком, входит в курилку, никого не замечает, шепчет чего-то, топчется на месте, разводит руками, а потом машинально, будто нехотя, расстегивает брюки, мочится в урну для окурков.

Тишина в курилке мертвая.

— Петрович, — окликает Славка Малютин, — а Петрович... Шел бы ты лучше в кабинку.

Зубков вздрагивает, дергает по сторонам головой, дрожащими руками застегивает брюки.

— Профком... — шепчет он и растерянно улы-

бается, и губы от волнения прыгают, будто мяч на резиночке. — С профкома...

— Ну?!

— Утвердили... Трехкомнатную...

Все «Ура!» кричат. Кто радуется, кто завидует, кому наплевать.

Тут и звонок. Обед. Всех из курилки, как ветром сдуло. Стоит один Зубков, качается. К стене привалился, ватные ноги не держат.

8

Звонок еще не отзвонил, а в отделе никого уже нет. Бегут, торопятся, обгоняют друг друга на пути в столовую. Асфальт — по асфальту, газон — по газону, клумба — по клумбе. Окажись на пути гора — гору своротят, туннель прогрызут... Все энергичные, предприимчивые, решительные: откуда что берется! Штурмуют кассы и гардеробы, раздаточные окна и заваленные грязной посудой столики, едят быстро, сосредоточенно, будто за ними гонятся, и наглотавшись, медленно идут обратно, дышат воздухом. С одиннадцати до половины третьего не прекращается поток в обе стороны. Цех за цехом, отдел за отделом. Голодные — туда, сытые — обратно. А раздатчицы в столовой — виртуозы. Кладут на руку до локтя по три тарелки — картошка, гречка, макароны, подливка — и шницелями шлеп да шлеп, шлеп да шлеп, шлеп да шлеп... С одиннадцати до половины третьего. Жар, пар, духота... Бак за баком подтаскивают, бак за баком опоражнивают, и рычит в углу, давится мясом огромная красная мясорубка... Жутко смотреть, какую прорву поглощают люди. Спешно приготовленную, спешно поеденную. А потом изжога, колит и гастрит, и работает при столовой диетический зал, куда по предписанию врача ходят пострадавшие.

Опустел отдел, и ребята сразу к телефону — кадровику звонить. Прибежали, а там секретарша сидит, конфеты доедает. «Нет, — говорит, — аппетита. Есть, — говорит, — неохота». Какой уж там аппетит, когда она всю подаренную коробку в момент смолотила.

Саша Терновский волком глядит на Толю: «Надо было потом конфеты дарить. Потом...» Толя Кошёлкин снисходительно улыбается, подхватывает секретаршу под руку, шепчет на ушко обманные слова, уходит из комнаты. Саша сразу за телефон, а в трубке голос начальника: телефон параллельный, всё слышно. Говорит начальник на неслужебные темы: про подписные издания, про Ромена Роллана, про тридцатитомного Диккенса. Размяк, оттаял душой, кончит не скоро. После гигантского перерыва стали выпускать собрания сочинений и отдельные издания, и волнения вокруг этого огромные. Становятся с вечера очереди, со списками, с милицией, с переключкой в семь утра. Подписывают всё подряд, меняются, выписывают по почте из областных издательств, покупают втридорога на книжной толкучке, забивают шкафы разноцветными корешками. Мы не читаем, дети всё прочитают. Уходит на это нерастраченная энергия, удовлетворяется томление духа, появляются у интеллигентных людей темы для культурных разговоров. Настолько все изголодались, что выпуск «Книги о вкусной и здоровой пище» вызвал волнение в обществе, рассматривался как знак прогресса и перемен. После сурового, аскетического времени взахлеб читали гастрономические рецепты, подолгу разглядывали соблазнительные картинки, впервые ощущали ту общую скудость, к которой привыкли.

Толя Кошёлкин возвращается один, без секретарши, — оставил ее внизу, на скамейке, извинился смущенно, будто на минуточку, по нужде, — а ребята еще не звонили, и неизвестно когда будут. Разговор у началь-

ника приятный и оттого продолжительный. Толя смотрит на Риту Колчину, Рита кивает головой и идет в кабинет требовать прибавки. Она это делает периодически, потому что ей обидно. Кончили институт вместе, на работу пришли вместе, но ребята уже старшие инженеры, а она — просто инженер. Дело не в деньгах, — разница — копейки, — дело в принципе. Саша Терновский не одобряет этого, — просить — только унижаться, — а Толя Кошелкин с ним не согласен. „Неважно, с чем ты вошел в кабинет. Важно, с чем ты вышел”.

Начальник нехотя кладет трубку, нехотя слушает Риту, — проза, суконная проза... — но телефон уже освоботился, и Толя сразу набирает номер.

— Алло! — кричит кадровик. — Не слышу! Говорите громче...

Громче нельзя, громче — в кабинете услышат. Саша набирает еще раз.

— Не слышу! — орет кадровик. — Ничего не слышу. Перезвоните из другого автомата!

И вешает трубку.

Вскочили, побежали по пустому отделу. Мимо изумленной секретарши: «Некогда, тетенька, некогда...», мимо толстой вахтерши с пустой кобурой на боку: «Живее, мамаша, живее...», за проходную, на улицу, к соседнему автомату: «Кончайте болтать, девочки! Закругляйтесь! Не вы одни! Разговор свыше трех минут не разрешается...»

Влезли в будку, вдавились с трудом, Риту прижали, приплюснули к Саше Терновскому. Тело к телу. Смуглились, порозовели, отвели глаза: вспомнили одновременно. В прошлом месяце ездили всем отделом на день в колхоз, проработали полдня, сбежали вчетвером. Забрались на стог сена, лежали, смотрели на облака, дышали душистыми, сильными запахами трав, а потом Саша предложил сыграть в «дурака», на одевание. Кто проигрывает, на того надевают какую-

нибудь вещь. Играли каждый за себя, ребята старались, выигрывали, напяливали на Риту свои пиджаки и рубашки. Было ей жарко и неудобно, кололи потную спину сухие травинки, заливало глаза, — им, подлецам, лишь бы поржать, — и тогда Саша предложил сыграть на раздевание. Кто проигрывает, тот снимает с себя вещь. И опять ребята старались, выигрывали, и Рита сняла поочередно все их пиджаки и рубашки, сняла босоножки, косынку, колечко с камушком. Они подшучивали, поддразнивали, и Рита — человек самолюбивый, — поколебавшись, сняла платье, осталась в трусиках и белом кружевном лифчике. И опять они выиграли, стараясь во всю, помогая друг другу. Была пауза. Запах сена дурманил головы. Всё сместилось, стало чуточку нереальным. Ребята безразлично собирали карты, тасовали, потихоньку посвистывали, а Рита насупилась, закусил губу. «Ну, конечно...» — насмешливо протянул Саша, и она рывком сдернула лифчик. Ребята отвернулись. «Играйте, — прошипела она сквозь зубы. — Ну?!» Они играли, уткнувшись в карты, а у нее пылали щеки, и грудь от озноба покрылась гусиной кожей. «Сдаемся!..» — заорал Саша, и они кубарем покатались вниз со стога. «Вы могли выиграть еще раз...» — крикнула сверху Рита, а потом с ней была истерика, и они боялись лезть обратно на стог. С тех пор Саша Терновский ее почти не задирает, только поглядывает искоса да хмыкает задумчиво.

Толя бросает монетку, набирает номер: короткие гудки, линия занята. Еще набирает — занято. Еще — занято. Занято, занято, занято...

— Последний раз, — говорит Толя. — Если занято — надо ехать.

Набирает номер. Занято. Надо ехать.

Бегут, садятся в машину. У Толи родительский «Москвич» — первая модель, и оттого вечно грязные руки и под ногтями черно. Теперь на эту коробочку иронически поглядывают, а когда-то весь дом сбе-

жался, буржуями обзывали, дворник грозился шины проколоть: двор она ему загроживала.

Толя Кошелкин лезет под капот, начинает чего-то мудрить. У него машина с секретами, чтобы не угнали, не сняли колеса. Хоть она латанная-перелатанная, крашенная-перекрашенная, — живого места нет, — а все одно жалко. Такие секреты Толя понаделал: ее качнешь разок, а она уже библикает, орет на всю улицу. Ребятишки пронюхали про это дело, подходят и качают. Она сигналы подает, весь дом с ума сходит. Очень много существует хитрых способов от особых гаек на колесах до наборных замков на руле, и лучшие умы продолжают работать в этом направлении. Даже милиция рекомендует принимать меры, предотвращающие пуск машины посторонними лицами. „Наш моральный облик, — объясняет Саша Терновский, — стоит на таком высоком уровне, что его надо уже поддерживать”.

Толя едет быстро, рискованно, обгоняет грузовики, трясется по булыжнику на трамвайных рельсах. Ребята кричат, перебивают каждого, до конца не дослушивают. Настроение боевое. Шутка ли, едут навстречу собственной судьбе. Часто ли такое доводилось? Совсем не часто. Можно сказать, никогда. «Закрой на минуту глаза! — кричит Саша водителю. — Закрой на минуту глаза... Я тебе такую картину нарисую — ахнешь!»

Лихо подкатывают к отделу кадров, распахивают все дверцы, выпрыгивают из машины, кидаются в дом. Кабинет заперт. Постучали — не откликается. Сунулись туда, сунулись сюда — нигде нету. Ушел кадровик, исчез в неизвестном направлении.

— Обедает, — говорит уборщица. — Сей момент вышел.

— У, твою... — со злостью бормочет Толя, и Рита делает вид, что ее это не касается.

Толя Кошелкин — неудачник. Ему вечно не везет.

Весь мир, все люди, независимо от пола, национальности, вероисповедания и занимаемой должности, делятся на тех, кому везет, и на тех, кому не везет. Это закон, это проверено на практике многими поколениями, и Толя Кошёлкин — еще одно тому подтверждение. Есть на свете люди, которым везет, и есть — которым не везет. Если иногда все-таки везет человеку, которому обычно не везет, то человеку, которому обычно везет, в этот момент везет еще больше. И наоборот, если не везет человеку, которому обычно везет, то человеку, которому обычно не везет, в этот момент не везет до такой степени, что по сравнению с ним все остальные находятся в полном порядке. Так вот, Толе Кошёлкину всегда не везет. Чаще всего от своих неудач страдает он сам, но там, где невозможно страдать одному, вместе с ним страдают и другие. Толя родился в этом веке, и для него — а вместе с ним и для других — ученые приготовили атомную бомбу, за ней водородную, глобальные ракеты, какие-то жуткие кнопки, которые можно нажимать, но почему-то до сих пор не нажали: испытывают наши нервы. Ничего подобного до Толиного рождения не было, и можно смело сказать, что не он родился в ядерный век, а ядерный век состоялся в его время. Он во всем виноват, — Толя Кошёлкин, хронический неудачник, — во всех несчастьях и войнах, в беззакониях и своеволиях, в распрях и проявлениях великой тупости, во всем, что хоть отдаленно касается его самого, а так как его касается абсолютно всё, творимое в мире, Толя Кошёлкин виноват во всем. И если бы он родился раньше, было бы плохо нашим предкам, а если бы он родился позже, стало бы нехорошо нашим потомкам. На наше горе, он родился в наше время. Толя Кошёлкин — наш современник. Ему, неудачнику, должно быть плохо — такая уж у него планида, — но мы-то за что страдаем?!

Нехотя садятся в машину, едут обратно, вылезает

ют у проходной. Туда и обратно стогнали в момент. А что толку? Ничего неизвестно, неопределенность полная... Пропади оно всё пропадом! Берут в ларьке по кружке пива, выпивают безо всякого удовольствия, плетутся в скверик досиживать перерыв. Сидят на скамейке, привалившись друг к другу, несчастные инженеры, дипломированные специалисты. Кому они нужны такие?.. Многое после института позабывшие, мало получившие взамен, а главное, так и не выявившие: что могут, что под силу, какие из них инженеры?

Двадцать шесть лет каждому. Двадцать шесть лет... Господи, как поздно мы состоимся! И состоимся ли мы так поздно, Господи?!

9

«Подумать только, — часто повторяет Вера Гавриловна. — Костик — уже инженер!..» Постарела Вера Гавриловна заметно, ссохлась, уменьшилась в размерах, сдали нервы от постоянных волнений за мужа, за младшего сына. Сколько уж лет без войны вокруг войны ходим — то ближе, то дальше, — уже и привыкли, живем, будто так и положено жить, будто другой жизни и не бывает, а Вера Гавриловна не привыкла и не привыкнет никогда. Кто-то должен на белом свете беспокоиться за всех? Вот она и беспокоится. Волнуется без отдыха, без передышки: одного сына отдала, теперь к другому подбираются. И не защитишь, не спрячешь, не отгородишься дверью от страшного мира. Тут приезжала делегация из дружественной Германии, послали Веру Гавриловну стенографировать вечер встречи, а она отказалась. Тихая, нежная, деликатная — наотрез. «Не пойду! Хоть увольняйте». — «Вера Гавриловна, мы понимаем ваши чувства. Но ведь это уже другие немцы». — «Для вас другие, для меня — те же». — «Вера Гаври-

ловна, столько времени прошло — пора бы и позабыть». — «Вы добрые — вы и забываете. Я злая — я не забуду». Вера Гавриловна не забудет. Вера Гавриловна всё помнит. У Веры Гавриловны пометка сделана, узелок завязан на проклятой Германии: братская могила, а в могиле сын Лёка, девятнадцати лет, которому бы только жить да жить, да растить детей, да радовать стариков-родителей. Не просите Веру Гавриловну. Она не забудет! Работает Вера Гавриловна теперь в совнархозе: в новой промышленной структуре на старой секретарской должности. И начальник все тот же, с довоенных времен вместе. Он уйдет на пенсию, и она за ним. А начальнику уже седьмой десяток, уже сил нет прежних, одним опытом держится: надо работать, кормить дочку безмужнюю, откладывать внуку, чтобы продержались на приличном уровне, когда его на свете не будет. Устает начальник, дуреет к вечеру, и Вера Гавриловна по много раз на день крепкий чай ему носит, да лишних посетителей отваживает. А у самой работы невпроворот: телефоны звонят непрерывно, по три трубки на столе лежат, да вызовы в кабинет, да народ толпой, да всем некогда, да письма входящие и исходящие, да приказы, да что-нибудь отпечатать... А когда зайтишь, бегают к ней машинистки, курьеры, уборщицы, — будто магнитом тянет, — душу изливают, семейными тайнами делятся, а она слушает, поддакивает, дает советы. Только про свои дела — никому, хоть и волнуется за сына, за здоровье мужа своего Сергея Сергеевича. Характер у нее такой — волнительный. „Что ты беспокоишься? — улыбается Сергей Сергеевич. — Молодым я уже не умру”. После огромного перерыва стали строить дома, работы прибавилось, опытных специалистов рвут на части. Сергей Сергеевич командует большим отделом, вертится весь день, разрывается на тысячи дел, живет в свое удовольствие. Однажды пришли к нему заинтересованные люди, предложили взятку,

чтобы помог протолкнуть одно дело, и понял он, что достиг определенного служебного положения. Все такой же быстрый, решительный. Даже в буфете. Берет стакан чая, коржик, два яблока. Режет яблоки на куски, бросает в чай. Не успевает кусок очутиться в стакане, как он подхватывает его ложкой, сует в рот. Делает это быстро, судорожно, глотает, не жуя. Думает о делах, глаза беспокойно бегают по залу, никого не замечают. Вся затея с яблоками бессмысленна. Яблоки не успевают намочить, не становятся мягче. С таким же успехом можно сначала съесть яблоки, а потом выпить чай. Но он всегда режет и всегда бросает в стакан. Даже в обед он должен что-то делать. Потом выскакивает из буфета, бежит в отдел, на ходу включается в работу. Если он говорит „надо”, все без звука остаются по вечерам. Все забывают про свои дела. Зато в другой раз, когда сверху торопят, требуют внеурочной работы, он обходит своих, потихоньку шепчет: „Бегите домой. Завтра доделаем”. И впереди всех шагает к трамваю. Он всегда шагает к трамваю впереди всех, и знающие люди спорят с новичками на пиво, что его никто не обгонит на пути к трамвайной остановке. Был у Сергея Сергеевича сердечный приступ, приезжала неотложка, скрутило — думали не выкарабкается. „Все равно не умру, — просипел сведенными от боли губами. — Сдохну, а не умру”. Даже врачиха засмеялась. Выкарабкался Сергей Сергеевич, и опять бегает, и внешне не меняется совсем, будто его засушили, и дни своего рождения праздновать не дает, и повторяет, как заклинание: „Мне двадцать шесть лет. Мне все еще двадцать шесть”. Няня Кости уехала к дочке в Челябинск. Долго упрашивала дочка, долго умоляла, пока не увезла силой. Тосковала по Москве, по бульвару, по коммунальной квартире, каждый год приезжала, жаловалась, что всё ей там чужое, поговорить не с кем, и

церкви поблизости нету. В каждый свой приезд ходила к племяннице, носила мальчику подарки. А мальчик уже женился, у мальчика уже свой мальчик, и обе женщины, как две бабушки, за ним ухаживают. Вернулся из заключения полотер, отсидел срок, помордовали его всласть, кому не лень. Выходил перед строем надзиратель — сытая рожа, пыхтел, куражился, дергал из носа волосы: «Не желали два раза в году кричать «Ура!», будете каждый день кричать «Караул!» Валили лес, грузили бревна на платформу, откатывали на свободное место, навечно складывали в штабеля. К концу срока почти до самой Ангары дошли. Бессмысленная затея. Каторжный труд. Так и стоят штабеля до сей поры с двух сторон от рельс, протянулись на километры: ближе к лагерю дерево темное, старое, неизвестно кем еще положенное, в какие года, а дальше к реке — дерево светлее, моложе. Не простые дрова — памятник отнятым годам, загубленным жизням. Воротился полотер из лагеря, худобы и прозрачности блокадной, отыскал нянину племянницу, поглядел, как они дружно живут, и тоже в колхоз попросился. Няня всё умилялась, что столько разного народу в одном месте собралось, а живут — не ссорятся, сплотились чужие люди для защиты от внешних бед и напастей. Они няню всем колхозом и на вокзал провожали, и списки ей составляли: «во здравие» и «за упокой». Сына Николку писала няня в оба списка, всё надеялась, что объявится, до самой смерти надеялась. Она умерла, и он вместе с ней умер. Дочка Лена переехала из Челябинска, никто теперь на могилку к няне не придет. Никто не проведает, никто не поплачет. Сорим могилами, граждане! Сорим родными могилами. А в квартире родился ребенок. У циркового артиста Пети Лапушкина. Родила ему жена Тося сына, Сережку Лапушкина, родила и растолстела. Была человек-каучук, человек-змея, а стала домашняя работница, без специальности. Доволен был Петя Лапушкин своей

женой, сыном и общей жизнью. Висел под потолком, ухватившись зубами за крюк, тренировался, искоса поглядывал вниз, а внизу ползал по полу упитанный Сережка, весь в ямочках, ручки-ножки в перевязочках — укусить хочется, — и ходила, переваливаясь утицей, толстая жена Тося, поглядывала на мужа снизу вверх круглыми влюбленными глазками-вишенками. Когда Петя Лапушкин выступал в Московском цирке, каждый вечер опроретью бегала смотреть, как выбегал он на манеж, как делал под грохот барабана коронный свой номер. Подобрал Петя Лапушкин молодых акробатов, подучил, натренировал — мирового класса номер. В пятьдесят четвертом году в первый раз выехал за границу. Перед поездкой всю группу сводили в закрытый распределитель, приодели одинаково, проинструктировали как за столом есть, что пить, с кем разговаривать, чтобы не уронили чести советского артиста. Приводили пример: ездил один ученый в Рим, на симпозиум, между заседаниями появился на пляже в синих мятых трусах до колен, хохот стоял среди купающихся, весь пляж сбегался, думали сначала, что снимают кинокомедию скрытой камерой. Напуганные примерами, собрались отъезжающие еще раз, сами, перед полетом, обсуждали возможные варианты, ждали провокаций. „Товарищи! — предложил руководитель группы. — Давайте прорепетируем выход из самолета”. Вернулся Петя домой — вся квартира собралась послушать, поглазеть на диковинные вещи. На их памяти никто за границу не ездил, и было много вопросов насчет того, как живут, что едят, много ли безработных, сильно ли загнивают и сколько они там еще продержатся. Петя привез кучу вещей, одевался, как Бог, — прохожие оглядывались, — и жена его Тося совсем потеряла голову от любви к своему мужу. И тогда он ушел из дома. „Не могу больше. Куда

ни повернешься, все на тебя преданные глаза смотрят”. Им бы иметь две комнаты, чтобы в критическую минуту уединиться, закрыть за собой дверь, побыть одному, соскучиться, — он бы, может, и не ушел. Уехал из квартиры, живет у приятеля, приходит к своей бывшей жене в гости, ужинает, остается на ночь. Живут дружно, не ругаются; все стало проще, не так обязательно. Жена его Тося, — теперь ученая, — пошла работать. Телефонисткой на Центральном телеграфе. Работает по сменам, в ее отсутствие сын Сережка бегаёт без присмотра по квартире, лазает руками в чужие кастрюли, таскает мясо — суп стекает до локтей. Лопатин Николай Васильевич ушел на пенсию ровно в шестьдесят. Дня не пересидел: сегодня стукнуло, завтра ушел. Тогда только приняли закон о пенсиях, и в газетах много писали о достойных проводах. Человек всю жизнь проработал в банке, считал деньги. Сколько их через его руки прошло — не перечсть. И всегда без единой ошибки. Кого уж достойно провожать, как не его? Подарили телевизор. Сиди дома, смотри передачи, жди почтальона с деньгами. Лопатин Николай Васильевич расчувствовался, позвал сотрудников в ресторан. Все выпили, и он выпил, а так как в пьяном виде всегда говорил правду в глаза, то и тут высказал всё, что он о них думает. Кто подхалим, кто бездарь, кто выскочка, а кто не на своем месте. Скандал был грандиозный, из ресторана выскакивали, будто оплеванные. Те, кто был, долго потом глаза отворачивали, а кто не был — жадно выпытывали подробности, от удовольствия потирали руки, не сомневались даже, что Лопатин Николай Васильевич нарочно всё это устроил. «Погодите, — пообещал один бухгалтер. — Я тоже позову. Я тоже выскажу. Мне даже напиться не надо». Лопатин Николай Васильевич извиняться не пошел — было стыдно, — а телевизор перетащил к дочке Ляле, на квартиру: там внучка растёт, для нее детские передачи показывают.

Живет Ляля теперь отдельно, получил Веня Вдовых от завода квартиру, и Лопатин Николай Васильевич у них вместо няньки. Худой, тощий, скулы торчат, вид, как у язвенника, и редкие седые волосы дыбом. Неделями у Ляли живет, за внучкой ухаживает. Такой дед оказался преданный да заботливый — хоть воду на нем вози. В магазин сбегает, обед сготовит, погулять выведет, на все лето на дачу выезжает. Раб собственной внучки, даже не пьет при ней. Коли уж совсем немоготу, едет домой и там принимает. Жена Лопатина сначала к внучке приглядывалась, присматривалась, что-то настороженно выискивала, а потом потешлела, отошла, стала обыкновенной бабушкой и даже пускала внучку в свой кабинет. Внучка — боярских кровей, и принялась учить ее жена Лопатина стихам, музыке, французскому, как учила когда-то Лялю, и страшно ревновала ее к дочке, к мужу, особенно к Вене. И осталась глубоко внутри тревога: вглядывалась, впивалась глазами, высматривала, не прорвутся ли во внучке родственники Лопатина Николая Васильевича, костромские мещане, не сведут ли на нет все ее усилия. Но душой оттаяла, дарила внучке книги, надписывала на обложке «Милой Галочке — просто так», и даже с соседями стала здороваться, а с Верой Гавриловной беседовала иной раз на кухне про беспокойные детские дела. Но когда увезли внучку на новую квартиру, ни разу у них не была. Они звали, она отказывалась. Перестали звать — злятся. Ревнует очень: выучат не так, обучат не эдак. Жесткая стала, злая. Галстуки уже не разрисовывает, и пенсия ей по ее малому стажу — мизерная. Лежит целый день в кровати, в потолок смотрит. Радио не слушает, газеты не читает: про мировые события знать ничего не желает. Раздражают ее мировые события. Читает одного Бунина, по пятому, по седьмому разу. Не готовит себе, не убирает, на кухне не появляется, а варит на плитке

кофе, черноты дегтярной. Высохла, потемнела лицом, похожа на старую злую барыню. Достала из сундука старинные платья, накидки. Когда идет в булочную, подолом асфальт метет, и прохожие пальцем у лба крутят. Изредка едет на край Москвы, в Черемушки, прячется за деревьями, внучку поджидает. Увидит Лопатина за руку с девочкой, жадно глазами вопьется, ищет следов ненавистных костромских мешчан, а потом бежит обратно, путается в длинном, до земли, платье. Запирается в комнате, валится на кровать, жадно курит, смотрит в потолок. Глаза сухие, блестящие. Веня Вдовых как-то приехал за ней на такси, хотел к внучке отвезти, так она ему дверь не открыла. Отоспался Веня, отъелся, отдохнул от тех времен, когда днем работал, вечером учился, утром, до смены, с бутылочками за молоком бегал, ночью вставал, ходил с Галкой по комнате, прижимал к себе, чтобы согрелась, успокоилась, перестала плакать. Дрожал над дочкой, смотрел изумленными глазами, ФЭД купил, чтобы запечатлеть ее детские годы, и все жены своим мужьям в пример его ставили. Теперь кончил институт, работает мастером в цехе. Раньше девяти домой не приходит, иной раз воскресенья прихватывает. Работа нервная, дерганая: одно слово — завод. На заводе всегда так. Вроде, все спланировано, все рассчитано, в бумагах полный ажур, а дойдет до дела — вечный неутык. В последние годы стал Веня поглядывать на Самарью Ямалутдинову. Он — смущенно, растерянно, она в ответ — строго, спокойно, со вниманием. Красавица Самарья: волос черный, глаз пронзительный, лицо сухое, чистое. Жила Самарья с самой войны замкнуто, неприметно, глаза в пол: не пела, не шутила, в пустые разговоры не влезала. Была у нее в жизни одна цель: дожидаться вечера, лечь пораньше в постель, зажмурить глаза в безуспешной попытке уловить ускользающие черты Рената Ямалутдинова. А Веня

Вдовых всё поглядывал на нее, и она стала поглядывать. Веня всё высматривал, и она стала высматривать. Как-то летом взял он отгул, уехал за город, появился неожиданно в детском саду. Самарья даже не удивилась: отложила в сторону свои дела, повела его в поле, на речку — от бабьих глаз подальше. Случайно — не случайно, нарочно — не нарочно: набрали среди кустов на полянку. Самарья повернулась к нему, близко взглянула, опустила — будто согласилась — глаза, покорно вытянула руки вдоль тела. Веня, такой спокойный и уравновешенный, жадно мял платье, обрывал пуговицы, а она терпеливо ждала: не помогала и не мешала. Было жарко. Гудел рядом шмель. Солнце прожигало насквозь. Строгие глаза смотрели в упор. Потом она стояла на коленях в высокой траве, расчесывала волосы, держала в зубах шпильки, а Веня сидел на мшелом пне, курил, вздыхал, будто всхлипывал. Было Вене в ту пору тридцать три, было Самарье — сорок. Стал ездить к ней, когда получалось, урывал по крохам свое счастье. И засветилась Самарья, как когда-то, в счастливые довоенные годы, и засветился Веня Вдовых — впервые в жизни. Все вокруг отметили перемену, одна Ляля ничего не увидела, а может, не захотела увидеть. Вялая, флегматичная: молодая женщина с пожилыми чувствами. Всё мимо нее идет. С таким темпераментом до ста лет проживешь. А Веня мучался, разрывался, хотел из дома уходить. Метался, ночами не спал; дочка удержала. Пришел как-то домой, принес две бутылки. Выпили они с Лопатиным Николаем Васильевичем крепко, излил он душу отцу нелюбимой жены, тот утешил его, как смог, и отрубил Веня топором свою незаконную связь. Живет теперь Веня в отдельной квартире: гарнитур чешский, занавески цветные, пол лаковый. Все вечера на кухне просиживает, в комнату не идет. Кухня чистая, светлая, уютная: огонь горит, чайник кипит, радио мурлыкает. Тоска смертная! И Самарья

сразу изменилась. Была худая, черная, будто жег ее изнутри неугасимый огонь, а тут постарела, погрузнела, толстеть начала, седой волос прядью пробился. И уже не ждет вечера, не жмурит глаза по ночам: ушел от нее Ренат Ямалутдинов, навсегда растворился в плотном тумане прожитых лет. Хаймертдинов, законный муж Самары, вечный жилец на дежурной раскладушке, работает последний год. Осенью идти ему на отдых, давно уже рассчитал до копейки свою пенсию и пенсию жены, но все так же садится к обеденному столу, считает расходы за день, не перестает, неумный, удивляться, куда идут деньги, хотя мог бы давно уже понять и привыкнуть. От постоянных подсчетов развилась у него острая наблюдательность, отчего считает уже не только деньги, но всё, что ни попадется на глаза. Ступеней до их квартиры — сто двадцать четыре. Окон в доме напротив — девяносто шесть. Столбов вдоль бульвара — восемнадцать. Очень он на пенсию рвется, дни считает. «Вот уйду на пенсию, смогу иметь свое мнение». — «А на что оно тебе? — удивляются соседи. — Век без него прожил, теперь и подавно обойдешься». А Хаймертдинов упорствует, хочет иметь Хаймертдинов на закате жизни собственное мнение. Каждое лето выезжает с Самарьей в лесное Подмосковье, ест детские кашки с провернутыми котлетками, пьет кисель, ходит в лес за грибами. В один год уродилось белых грибов невиданно — банок не хватало, чтобы солить, укусу в магазинах не достать, — и молодые веселились, возвращаясь с полными корзинами, а старухи по деревням печалились, что не к добру всё это, а к войне. Верная примета. Хаймертдинов слушал старух внимательно, и хоть понимал, что между войной и грибами нет и не может быть ничего общего, но в душе своей беспокоился и переживал. Бога, вон, тоже нет — безусловно и наверняка, — однако, кто Его

знает. В старые годы как-то очень на Бога тянет. Тетя Шура, Нинкина мать, в пятьдесят первом году пошла учиться, на старости лет села за парту. Трудно было поначалу, зато теперь у нее высшее профсоюзное образование, перевели тетю Шуру в горком союза. Ходит в инструкторах, гостем приезжает на родную фабрику. Там была бабий атаман, первый человек, здесь таких — десятки. Там рубила с плеча, правду в глаза, здесь — закулисная политика. Там можно было и послать кого при случае, — свои люди: сегодня я тебя, завтра ты меня, — здесь — вежливо и тактично. Там работала с народом, с тетей Верой, с Нюркой, с Марьей Фоминишной, здесь — с организациями. Даже внешне переменялась тетя Шура. Остригла коротко волосы по последней профсоюзной моде, пополнела, зачастила в парикмахерскую, дырки в ушах проделала, перестала убирать в свои дни места общего пользования, воспользовалась услугами тети Моти. Когда приезжает с курорта, с юга, загорелая и отдохнувшая, еще хоть куда тетя Шура, сто очков вперед молодым даст. Одевает тетя Шура английский костюм болотного цвета, черные очки, едет встречать иностранные делегации. Сама за границей была: в Финляндии и в странах Африки, с заездом в столицу Франции город Париж. Трудно работать в горкоме, — разные приезжают иностранцы и разные вопросы задают, — но зато путевки всегда: и в санаторий, и за границу, и билеты на Райкина, на закрытые просмотры новой программы. Как-то приезжал ансамбль из черной Африки, многие у них ходили и долго потом возмущались, зачем такое показывают нашему неподготовленному зрителю, потому что танцевали они нагишом, с одной повязочкой, груди у женщин совсем голые, — срам да и только: все мужики пялились, — и даже был парный танец, напоминавший что-то уж очень знакомое и некультурное. А тете Шуре ансамбль понравился. Она и

сама в молодости огнем горела, голая на печке спала — девки удивлялись, до первого льда в речку лазила, после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. До сих пор больше всего любит тетя Шура в кино ходить, до сих пор нравятся ей фильмы музыкальные, про любовь. Дядя Паша, Нинкин отец, стал солидным и важным, строго и деловито руководит вверенным ему клубом, и уже не кричит, не ругается, как прежде, при виде какого нарушения, а только поднимет в изумлении бровь, огорченно вздыхает: «И это в двух шагах от Кремля...» Дядя Паша теперь интеллигент. По старой привычке носит еще френч, но зато вместо галифе — брюки в полосочку. Всё знает, обо всем слышал, но точно еще не представляет, что для чего. Знает, к примеру, что декольте — это вырез, но зачем и на каком месте — это ему пока неизвестно. В других клубах и драки, и выпивка, и легкомысленные девочки, с которыми у нас официально покончено много лет назад, а у дяди Паши — милиция, дежурные комсомольцы, весь клубный персонал начеку. Теперь разрешили современные западные танцы, и даже комитет комсомола смотрит на это поощрительно. Время такое, нельзя отставать от требований жизни. Все растут, и дядя Паша, Нинкин отец, тоже растет в разрешаемом направлении. Висит перед клубом фанерный щит: „Сегодня занятия университета культуры. Явка строго обязательна“. Первая часть объявления — примета нового. Вторая — пережитки старого. Не все сразу. Постепенно. Одно за одним. Медленно, но идем. Идем, но очень уж медленно! Появились агитбригады, сами пишут, сами ставят, критикуют что попало, кого ни попадя. У дяди Паши в клубе двое таких. Насмотрелись на эстраде и хором стихи читают, фельетоны, неполадки изобличают, подражают этим двум евреям, которые руками и ногами одинаково дрыгают. Дядя Паша услышал их в первый раз — за голову схватился. „И

это в двух шагах от Кремля!..” Начал им объяснять, подсказывать, отечески советовать, а они зубастые, говорливые — не переспоришь. Нет, чтобы отрицательное с положительным смешивать, а они одно отрицательное. «Не отражаете, — выговаривает дядя Паша. — Все отражают, вы не отражаете. Я, конечно, понимаю. Программа у вас сатиристическая. А где афопеоз? Афопеоза нету...» А они ржут, подлецы. И закрыть их невозможно, и на сцену выпускать нельзя. Время такое. Вот и выкручивайся, как знаешь. Критикуют всё, критикуют, а для них сколько всего понаделано! В других странах трудящиеся могут только мечтать о бесплатном реквизите. Зато в танцевальном коллективе полный порядок. Девки молодые, горячие. Закружатся — все видать. Теперь у дяди Паши с тетей Шурой отдельная квартира. Две комнаты. Да ушли молодые годы, прожитые в тесноте, когда Нинка сопела под боком, ворочалась беспокойно от матрацного скрипа. Спят они теперь отдельно. У тети Шуры — диван-кровать. У дяди Паши — кушетка. Зато Нинке раздолье в отдельной квартире со своим мужем. Как восемнадцать ей стукнуло, сразу вышла Нинка замуж, — дня лишнего не утерпела, — и родители были рады чрезвычайно, потому что устали волноваться и ожидать неизбежного. Пусть теперь ее муж волнуется. А муж у Нинки — учитель математики, присланный к ним в школу сразу после института. Другие учителя — старые, сутулые, блеклые, а этот веселый, здоровый, щеки-яблоки. На первом же уроке все девицы безнадежно сошли с ума и тут же начали его соблазнять. Чего только они ни делали, чего ни творили: смотрели пристально, вздыхали томно, закатывали глаза по очереди, от парты к парте, гордо обижались, таинственно шурились, а Нинка даже упала у доски в обморок, чтобы он взял ее на руки и отнес в кабинет к врачу. На школьном вечере они такое откалывали у него на глазах, — а Нинка пуще всех, — что ди-

ректориса на час раньше прекратила это безобразие и на завтра вызывала родителей. Учитель математики оказался стойким, на соблазны не поддавался, и тогда Нинка поклялась страшной клятвой перед всем классом, что он будет ее. Неожиданно, вдруг, она перестала понимать алгебру с геометрией, нахватала кучу двоек. Родители всполошились, — как-никак, десятый класс, — и по коварному Нинкиному совету пригласили ее учителя позаниматься с ней дома, отдельно, за дополнительную плату. И пропал учитель математики. Перед каждым уроком Нинка подбирала наряды, позы, интонации, одни соблазнительнее других, — не урок — демонстрация Нинкиных прелестей, — и распалила учителя до такой степени, что он сам перестал разбираться в математике. Сразу после выпускных экзаменов вышла Нинка за него замуж, весь класс гулял на свадьбе, все девицы лопались от зависти, глядя на счастливую Нинку и на ее здоровяка-мужа, и даже тетя Шура, Нинкина мать, вздыхала тайком, вспоминая себя и свою молодость с никудышным дядей Пашей. Поселились они у свекрови: Нинка перевернула жизнь по-своему. Не квартира — проходной двор. Битком — ее однокурсники. На раскладушке всегда кто-то спал, за столом всегда кто-то ел, кому-то занимали деньги на кино, на прокорм, на штаны. Свекровь рукой на них махнула, подхватила вещички и съехала к сестре, потому что решили они выдать вдовую свекровь замуж, и всем курсом подыскивали пожилого, непьющего холостяка. Раз даже привели кого-то, так свекровь со стыда чуть не сгорела. С ее отъездом квартиру не узнать. Всё переворошили, всё вверх дном, и раз в месяц «неделя свободы»: ничего не убирать, нигде не подметать, на место ни за что не класть. Не дом — запорожская вольница. Нинкин муж — за атамана. Только насчет детей у них строго. Решили на общем студенческом собрании, большинст-

вом голосов, что детей будут заводить после института, и Нинкин муж покорился. Кончила Нинка институт и начала по уговору рожать. Теперь у них двое детей, и третьим она беременна. Все удивляются, а она хохочет, и лишь в гости к кому придет, сразу танцев требует. Ее оба раза с танцев в роддом везли и сейчас, наверно, повезут. Пару раз заезжала тетя Шура в прежнюю квартиру, внучек своих показывала. Все смотрели, девочек хвалили, одна тетя Мотя на некрещеных косилась. Пошел тете Моте восьмой десяток. Точно никто не знает, сколько ей лет — точно она сама не знает, — но всё так же убирает, и моет, и бегаёт на работу, и по два раза в день в церковь, и на рынок к закрытию, чтобы остатки взять подешевле, а то и вовсе задаром. «Я шустрая. Где катом, а где и накатом». Когда делали ремонт по дому, хотели заодно и ее комнату освежить, но она воспротивилась, стеной на пороге встала. Управдом товарищ Красиков заглянул к ней и ахнул: сырость, мрак, чернота от печи с военных времен. Пригрозил, что выселит за плохое обращение с жилым фондом, напугал до смерти, заставил впустить рабочих. Побелили потолки и рамы, оштукатурили стены, накатали, как на лестничной площадке, розовой краской стандартный рисуночек. Комната посветлела, повеселела, на белом фоне иконы заиграли. Келья, да и только. Тете Моте ужас как нравится. Объявилась вдруг у нее родственница, почти племянница. Учится на артистку, живет в общежитии. Пришла в первый раз к тете Моте, а та и угляди у ней на шее крестик. Думала — верующая, а это, вроде, мода такая. Повела ее тетя Мотя в церковь, та ахала, охала, стриженной головой по сторонам вертела, парчу тканую щупала: вот бы такую на платье. В другой раз пришла, привела будущих режиссеров, показывать типаж — тетю Мотю. Один шустрый, косой, в длинном свитере, весь в каких-то перьях на месте бороды, предложил тете Моте сняться в учебной рабо-

те — наш отечественный неореализм, — а она его даже не поняла, потому как ни разу в жизни кино не смотрела. Потом племянницу взяли на картину, за ней на другую, и исчезла она навсегда, закружилась в водовороте. Бежала тетя Мотя как-то в церковь, увидела ее на афише: стоит племянница совсем раздетая, из одежды на ней — две тряпочки, а вокруг мужики нарисованные скалятся. Плюнула тетя Мотя, перекрестилась, — „Господи, твоя воля!“ — дальше побежала. Софья Ароновна Экштат похоронила мать свою, Цилю Абрамовну, на еврейском кладбище, похоронила по всем законам, памятник поставила, а на нем по-еврейски написано, кто тут лежит. Ездит часто на кладбище, следит за могилой, цветы сажает, прибирает, накидываются на нее нищие, просят милостыню. Платит деньги в синагогу, чтобы молились там за Цилю Абрамовну, делает всё по религиозному закону, как полагается. Если человек всю свою жизнь верил в Бога, он имеет право на веру и после смерти. Работает Софья Ароновна всё в той же поликлинике, по-хозяйски ходит по коридорам, невысокая, плотная, туго перехваченная халатом, с засученными рукавами, в тяжелых, на здоровенном каблуке, ботинках-копытах, и очередь страждущих от зубной боли заискивающе заглядывает ей в лицо. Дело с «врачами-убийцами» Софьи Ароновны не коснулось. Всё так же пломбирovala и рвала зубы, всё так же стояла к ней очередь — больше, чем к другим, — и лишь отдельные, особо трусливые и оттого особо бдительные пациенты опасливо косились на нерусскую ее фамилию на талончике. Теперь она не лечит зубы — только рвет, — и некоторые больные, когда уезжают из этого района, карточку в поликлинике не забирают, на обман идут, лишь бы у нее лечиться. Манечка Экштат вышла уже замуж, сняла на стороне комнату и после свадьбы сразу переехала туда, не захотела жить в тесноте с родителями. Манеч-

ка — человек самолюбивый. Она и фамилию девичью оставила, и ни за что не допускает, чтобы муж ее, Натан Яковлевич, больше ее зарабатывал. Преподает в музыкальной школе, дает частные уроки. Если мужу прибавляют зарплату, она еще ученика берет. Все страхи Софьи Ароновны относительно излишней холодности зятя быстро улетучились. Все было нормально, даже нормальнее, чем хотелось, потому что через год Манечка родила сына, хоть и не собиралась этого делать так быстро. Ребенка назвали Дмитрий. Дима. Каждое лето возят его к бабушке, под Харьков. Бабушка живет там со старшим сыном — Зиновием. Крикун — его фамилия. „Спросите Крикуна, — говорит. — Меня весь город знает”. Его, действительно, знает весь город. Зяма Крикун. Заместитель директора макаронной фабрики. Сто сорок килограммов живого веса. Носит брюки на подтяжках, выходит на пляж в трусах на ляпочках, плавает на спине, мокрое пузо блестит на солнце, как айсберг. Когда совсем растолстел, поехал в Москву, в институт питания. Хоть и кормили хорошо, для других сытно, а он чуть с голоду не умер, еле назад вырвался, месяц ел-отъедался до прежней сытости. Возили Зяму на всеукраинское совещание, вышел он, положил живот на трибуну, сказал громко: „Ешьте макароны только нашей фабрики!” Стон стоял в зале — перерыв пришлось делать. Лучше Тарапуньки и Штепселя, честное слово!.. Его потом в Москву возили, он и там на совещании сказал, и там все смеялись, но меньше, и перерыва делать не пришлось. У Зямы Крикуна жена нервная, вспыльчивая, злющая. Чуть что не по ней, хватает ребеночка, девочку, Сонечку, кровиночку, бежит с ней на станцию, к поезду, к маме, к миленькой, к родненькой, а Зяма бежит следом и кричит: „Любочка, вернись! Вернись, Любочка!..” Догоняет у вокзала, — она и бежит так, чтобы можно было догнать, — упрашивает, уговаривает, умоляет на виду у всего города — добрый человек, замести-

тель директора макаронной фабрики, — чтобы простила, чтобы вернулась с ребенком обратно. Она прощает, наконец, и милостиво, победителем, идет домой, а он плетется сзади, несет на руках Сонечку-кровиночку. Манечка приехала к ним первый раз, сразу все поняла и при очередном бегстве непустила Зяму за ней. Он кричал, волновался, в отчаянии хватался за голову — еле удержали, — а его жена побродила с ребенком по станции, пропустила пару поездов, тихонько вернулась обратно и к вечеру закатила такой скандал, что уж лучше бы Зяма бежал за ней следом до самого того места, где живет ее мамочка. Больше Манечка туда не приезжала, а по возвращении домой посадила мужа своего, Натана, на строгую диету, чтобы не проявилась у него, как у Зямы, наследственная склонность к полноте. Она и сына Диму нехотя туда посылает, да делать нечего. Тут с ним и посидеть некому, а там воздух, фрукты-овощи. Как только Дима приезжает, бабушка всплескивает в отчаянии руками: «Разве ж это щечки? Разве ж это ножки и ручки?!» — и сразу начинает его откармливать. Каждое воскресенье покупаются на Привозе семь молоденьких цыплят, и каждый день Дима ест бульон с домашней лапшой, а оставшиеся цыплята, привязанные за ножки, мирно пасутся у крыльца, клюют кукурузные зерна и ждут своего часа, так что по их количеству можно определить дни недели. Шесть цыплят — понедельник, пять — вторник, четыре — среда... Первый месяц кормежки не в счет: «В первый месяц, — объясняет бабушка, — растягиваются кишочки», — а потом Дима вдруг вскипает, как на дрожжах, набирает за лето свои килограммы, и окрестные ребята дразнят его, прыгая у забора: «Дима-жиртрест, курочку только ест!..» — на что он, закармливаемый цыплятами, резонно отвечает: «А какое еще мясо бывает?» Осенью Дима возвращается в Москву, сразу худеет, а следующим летом бабушка,

как трудолюбивая пчела, опять принимается за работу. Семен Михайлович Экштат, отец Манечки, теперь пенсионер. Последние до пенсии годы прожил замкнуто, молчаливо, ни на кого не обращая особого внимания. Была у него работа в аптеке и любимая коллекция экспонатов, характеризующая его, Семена Михайловича, жизнь, чего ему вполне хватало. Стали появляться новые лекарства, польские, венгерские, даже английские, и образцы каждого такого лекарства Семен Михайлович приносил домой, к себе в коллекцию, и даже были у него редкие лекарства из закрытого распределителя, которые никогда не попадали на общий прилавок. Появились в аптеке молоденькие девушки, окончившие фармацевтический институт, вовремя вышедшие замуж и потому не подлежащие распределению. Они заполнили все места, и уже работали даже продавщицами, продавали штучные товары — кальцекс, дисульфан, мыло, одеколон, — и стесняясь первое время, заворачивали под прилавком разные интимные изделия. Семен Михайлович, потомственный аптекарь, презирал девушек, презирал их дипломы, и в белоснежном халате строго глядел из-под очков на постоянно толпившуюся очередь. Он бы, конечно, не пошел на пенсию, но сломали дом на конце бульвара, где размещалась аптека, всех сотрудников перевели в другое место, а он не захотел. Стоял, смотрел, как подъехал кран, как здоровенным шаром на тросе разбивали стены. Дом старый, стены метровые, неделю возились, по кусочкам отламывали — бьют, бьют, бьют, пока трещина появится, — а он стоял на тротуаре и глаз не отводил. Взял кусочек кирпича в коллекцию, характеризующую его, Экштата Семена Михайловича, жизнь, в первый раз вышел из комнаты небритый, поехал в собес оформлять пенсию. Сразу сдал, одряхлел. Был поэт, композитор, ребе, а теперь просто старый еврей. Бродит по бульвару, шаркая теплыми ботинками, разго-

варивает сам с собой, напевает под нос: „Нет, не можем воротиться: годы не вернуть, годы не вернуть. Что прошло, не возвратится: прошлое забудь. Что прошло, не возвратится: прошлое забудь...” Исчез с бульвара тихий дебил Гена. Старый стал Гена, подружился с чистильщиком ботинок, который прилепился со своей будкой к дому на конце бульвара, рядом с аптекой. Когда не было клиентов, сидел у него внутри, на стуле, коленками в коленки, в теплой тесноте, и молча слушал радио. Старый, старый, весь в морщинах, мятый, будто печеный пирожок, ассириец, и немолодой уже дебил Гена. Когда приходил клиент, Гена вылезал из будки, стоял рядом, дрожал после тепла на морозе, терпеливо ждал, когда можно будет, сгибаясь в три погибели, залезть внутрь и обогреться. И опять сидели молча, слушали радио, отделенные от мира тонкими фанерными стеночками, и лишь изредка старик-чистильщик вставал, приоткрывал дверцу, кричал наружу, в пронзительный холод, сиплым, дребезжащим голосом: «Покупайте теплые стельки! Хорошие, мягкие, горячие стельки!» Работы не было, никто не хотел в мороз чистить ботинки, и стельки, наверно, имелись у всех, и так они просиживали иногда весь день вдвоем, коленками в коленки. По субботам они ходили вместе в Палашевские бани. Гена быстро с себя всё сбрасывал и ждал, переминаясь с ноги на ногу, дрожа от озноба несуразно большим, морщинистым телом, а старик неторопливо снимал, как капустные листья, одну одежду за другой, и банщики всякий раз считали вслух, сколько на нем надето штанов, рубах и кофт. Раздевшись, старик аккуратно складывал вещи, брал Гену за руку, и они медленно шли в моечный зал, осторожно ступая по мокрому, мыльному полу. И мылись там долго, не спеша, натирая спины чуть не до крови. Когда начали ломать дом, первым делом снесли будочку чистильщика. Гена заволновался, бегал вокруг дома и вдоль бульвара, ис-

кал старика. Сорвали железо с крыши, кран уже разбивал стены, а он все бегал кругом, не мог отыскать будочку, а потом, вдруг, появился на чердаке, между голых стропил, что-то кричал машинисту крана, грозил кулаком. Хотели везти его в лечебницу, да вовремя пришел старик-чистильщик. Взял Гену за руку, повел к себе домой. Исчез с тех пор Гена, не появляется больше в их районе, не бродит по бульвару, изумляя прохожих голубыми бретельками. А на бульваре полно детей. Бабушки-пенсионерки со своими внуками, и кое-где гордые от исключительности своей профессии и ошалевшие от обилия предложений няньки. Дети бегают, стреляют из пластмассовых пистолетов и автоматов. Сколько времени с войны прошло, а до сих пор играют в наших и немцев. Долго теперь продержится эта игра — в наших и немцев, как весь прошлый век играли дети в наших и французов. Ходят по бульвару модницы в синих, розовых, ядовито желтых синтетических шубах. Химия. Капрон, нейлон, абсолютно прозрачные блузки, за которыми давятся в очередях. До сих пор на улицах мало красок. Мало ярких, сочных, жизнерадостно-чистых тонов. Цвета одежды серые, коричневые, блеклые, будто нет во всем этом живой, горячей крови. Раньше все одевались одинаково, шуршали на ходу черными и коричневыми кашемировыми плащами, а теперь залеживаются на прилавках всякие — никто не берет, ищут получше, приводят в ярость и уныние работников легкой промышленности. Попробуй, угонись за лучшими образцами. Стали приезжать иностранцы, толпами бродят по центру, скупают матрешек, со всех сторон фотографируют Василия Блаженного. В пятьдесят пятом году Сергей Образцов открыл для нас Ива Монтана. Все сошли с ума, все пели только его песни, а потом оказалось, что подобных ему много. Просто его открыли для нас первым, просто мы никого и ничего до того не знали. Летают уже спутники, лю-

ди с непривычки кидаются к радио, когда Левитан объявляет об очередном запуске, и уже слетала в космос собака Лайка. Скоро, видно, человека пошлют. Их дом на бульваре опескоструили, сняли полувековую грязь. Отремонтировали парадный ход, черный, места общего пользования. Все чердаки открыли, распечатали, после длительного перерыва разрешили белье сушить. Нет теперь правительственной трассы, и «топтунов» на бульваре тоже нет. Во дворе дома снесли домоуправление, все стенгазеты — рулоны за много лет — сожгли. Управдом товарищ Красиков ушел на заслуженный отдых. Теперь управдома нет, а есть контора на сотни домов. Сносят аварийные строения, жильцов на край города переселяют, но работа эта, видно, на долгие годы. Одни арбатские переулки чего стоят!.. Гниль, старье, скученность жуткая. Тронь один такой домик — двух пятиэтажных не хватит, чтобы каждому дать по девять метров, по санитарной норме. А церковь в арбатских переулках уже отремонтировали. Блистает свежей краской, позолотой, росписью на радость тете Моте. Жена Лопатина Николая Васильевича раз туда заглянула — выскочила обратно злая, ведьма ведьмой. Сутками из комнаты не выходила, курила, пронзительно глядела в потолок, в который раз перечитывала любимого Бунина. Вышла как-то на кухню, увидала в соседском тазу живого карпа, утащила тайком к себе в комнату и не отдала, сколько ее ни просили. Она очень привязалась к рыбе, назвала ее Манькой, и когда бегала бесконечно по комнате или лежала на диване, часто-часто восклицала: «Манька моя... Манька моя... Манька моя...», — чтобы рыба знала, что она здесь, чтобы рыба не чувствовала одиночества. Иногда она садилась на пол возле таза, опускала в воду руки и поглаживала Маньку, и беседовала с ней, и читала стихи, или просто молчала и покачивала головой, будто слушала рыбу. И больше никто ей не был нужен. Ни муж, ни дочка,

ни внучка. Одна рыба Манька. Жизнь человеческая — хитрая штука. Ее, к сожалению, не разложишь по нотам, и не напишешь, как на нотах, на любой вкус: «Быстро, весело», «Оживленно», «Умеренно, неторопливо», «Медленно, с чувством» или хотя бы «В темпе вальса». Однажды вечером, когда все были дома, потянуло дымом из-под ее двери. Постучали, подергали, взломали дверь, а она сидит на полу, жгет прямо на паркете старые бумаги, а в тазу кверху брюхом плавают дохлая Манька. Позвонили Лопатину, вызвали неотложку. Врач с неотложки сделал успокаивающий укол, созвонился с психлечебницей. И опять все сидели до ночи на кухне, жались друг к другу, тихо переговаривались, ждали машину. Пришли дюжие санитары, а она кинулась на них с кулаками, зарычала: «Я графиня! У меня справка есть...» Подхватили ее под руки, быстро провели по коридору, вниз по черной лестнице, к санитарной машине. Она закричала пронзительно, на весь двор, уцепилась рукой за деревце. Санитары рванули, деревце обломилось. Запихнули в машину, уехали. До утра никто в квартире не спал. Трясло всех, как от озноба. Был человек, нет человека...

10

— Эй! — вскакивает Костя. — Обед проспали...

Хватаются за часы: так и есть, проспали. Бегут к проходной, торопятся проскочить вовремя, чтобы вахтер не засек, не записал опоздания. Будут вызывать к начальнику, прорабатывать, сочтут за намеренную демонстрацию. „Опять эта четверка... Пренебрегают... Отлынивают... Закон не писан...” Очень им нужны напоследок эти разговоры!

Толя Кошёлкин делает попытку, подкатывается к секретарше, а она ключом кипит. «Я вам не курьер... Я не обязана к телефону звать...» И волком смотрит.

Око за око, враг навеки. Сколько конфет надо ей теперь скормить — разоришься. С тоски закуривают ребята, ползут в курилку, а там уже полный комплект. Стоят кружком инженеры и техники, в мирной беседе пищу переваривают, выкуривают свою законную, послеобеденную. Сбегали в столовую, пообедали, постучали в «козла», со звонком пошли в курилку. Не первый год стучат, подобрались постоянные составы и часто остаются после работы. Домой идти неохота, дома теснота и скучные обязанности, а тут по вечерам тихо, просторно, все свои. Так давно играют, что переиграли уже, наверно, все варианты. Как в анекдоте про пожарных: размешали, взглянули на кости и без игры говорят: «На вас двадцать четыре», «С нас девятнадцать», «Рыба».

Стоят инженеры и техники, небогатый народ, и настроение у всех веселое. Сегодня зарплата, сегодня квартальная премия, и по сему случаю после обеда уже не работа. Пока получишь деньги, пока перекуришь, туда-сюда, то да се — а там и звонок. Сговариваются махнуть в «Загородный»: водочка с огурчиками, салатик с майонезиком, традиционный шашлык с премии. А пока, в предвкушении, затевается увлекательный разговор, кто бы что стал делать за оклад в три тысячи. Поклоны бить, дерьмо возить, на смерть стоять. Старый разговор, многолетний, постоянно волнующий...

Вдруг слух прошел: секретарша за деньгами ушла. Ребята выскакивают из курилки: точно, ушла! А следом за ней начальник по коридору бежит. Раз бежит, значит директор вызывает. К директору он всегда спешит, боится опоздать, хоть и вредно бегать для его здоровья. Очень печальная картина: бежит по территории завода пожилой человек, прижимает к груди папку с чертежами, задыхается, кашляет на бегу. Директора боятся все. Бывший токарь, бывший мастер, бывший начальник цеха, он держит завод в кулаке — и со все-

ми подчиненными разговаривает только на «ты». «Если каждого на «вы» называть, план никогда не выполним. План на «вы» не выполняют». К директору все бегом, а к главному инженеру — шагом. Главный тоже кричит, да у него крик не тот. Он покричит-покричит и отойдет, а директор гаркнет раз и привет: оргвыводы. Директора боятся все, главного инженера — никто. Опытные люди уверяют, что так везде. Один сильный, другой слабый. То ли сильный не хочет при себе сильного держать, то ли не так много их у нас, сильных, чтобы густо было. А может, это природа такое предохранение устроила: ежели кругом полно будет сильных, куда же нам, слабым, деваться?

Ребята бегут к телефону, Саша Терновский дрожавшей рукой набирает номер. Есть! Кадровик на месте. «С вас причитается. Можете переходить». — «Правда?!..» — «Стану я врать... Вас троих на тысячу пятьсот, Колчину — на тысячу двести». — «Это еще почему?» — «А потому...» Больно надо ему объяснять. Колчина — женщина, работник не аховый: пойдут декреты, бюллетени по уходу за ребенком, то-се, фокусы разные, а потом он еще справки наводил, говорят, что самодеятельностью увлекалась, на сцене выкомаривала... Да ну ее! У него не театр, не опера-балет. «Согласны?» — «Не согласны!» — «А вы подумайте, подумайте, — искушает кадровик. — Тысяча пятьсот на улице не валяется. У меня у самого — меньше». — «Всем одинаково, — режет Саша. — Тогда пойдем». — «Хе-хе... Можно и одинаково. Всем, как ей». — «Всё! Не сговорились». — «Стал бы я уговаривать... — обижается кадровик. — Люди позарез нужны». — «Вот и берите». — «Нет». — «Нет — не надо».

Саша тихонько кладет трубку, поворачивается к остальным.

— Ну?!

— Дайте закурить.

— Чего он сказал?

— Закурить дайте!..

Поднимаются по лестнице к чердачной двери, забиваются в темный угол, садятся на любимую батарею, синий дым мягкими волнами бьется о стены. Всё. Круг замкнулся. С чего начали, тем и кончили.

Как бедному жениться, так ночь коротка.

11

— Ну, дела... Обхохочешься.

— Кисло, мужики. А что делать?

— Да какое он имеет право!..

— Имеет.

— Вот гад! Будто открыли тебе душу, плюнули и опять закрыли.

Все говорят сразу, на Риту не смотрят. Им неловко, а ей — вдвойне. Ей обидно, а им — тем более. Ведь можно уже уходить! Можно — и нельзя.

— Ну, мужики, чего делать будем?

— А что тут поделаешь? Пока было можно, мы шли.

— Надо другое место искать.

— Искать надо, а где его найдешь?

Саше неудобно. Не посоветовался, решил за всех, может, они бы и не отказались... А если ей и в другом месте меньше дадут, что же им, до пенсии тут сидеть?

— Знаете, мальчики, пойду-ка я на тысячу двести. Всё равно больше, чем здесь.

— Перестань!

— Он на это и рассчитывает.

— Еще позвонит, сам предложит. Им люди позарез нужны.

— Люди им, может, и нужны, да только не я.

— Ладно прибедняться-то... Себя не похвалишь — никто не похвалит.

Толя — неудачник. Ему всегда не везет, но это

редкий случай, когда страдают не от него, а он от других. Всё так перемешалось на белом свете — не поймешь теперь, кто от кого страдает.

— Звоните, мальчики. Звоните, пока не поздно.

— Я пас.

— Я тоже.

— А я и звонить-то не умею...

Вдруг, снизу крик:

— Эй, вы!.. К телефону!

— Кого?

— Любого.

— Ну! — захлебывается Саша. — Ну!.. Сейчас он у нас на коленках поползает...

Кубарем вниз, бегом по залу: весь отдел смотрит, а им наплевать... «Алло!» — «Надумали?» — спрашивает кадровик. «Кто? Мы?» — «Нет, я... Мне думать нечего». — «Нам тоже». — «Как знаете... Но через неделю у нас будет под завязку». И тут голос в трубке: «Я согласна». Это Рита. Из кабинета директора, по параллельному телефону. «Вы слышите? Я согласна». — «Ну и чудненько. Категорически одобряю. Подавайте заявления».

Вот и всё. Вот и свершилось. Остался, конечно, осадок, но осадок пройдет. Достают сигареты, закуривают, в глаза друг другу не смотрят. Сбоку на стуле робко примостился парень, чистенький, отутюженный, с блестящим институтским значком. Не иначе, мама на работу собирала.

— Новенький?

— Новенький.

— Специалист?

— Вроде бы.

— По распределению?

— Ага. А вы что, уходите?

— Уходим, дорогой, уходим.

— А почему?

Смотрят молодые инженеры и улыбаются. Улыбаются и хохочут. Хлопают по спине, ржут от восторга, всхлипывают до слез. Нервный припадок. Скоро пройдет. А впереди перемены. Впереди новые и лучшие времена. Как будто до этого ничего и не было. Как будто была не жизнь, а предисловие к ней. Длинное, затянувшееся предисловие, которое, наконец-то, позади, и жизнь, прекрасная жизнь ждет их на следующей странице.

Четыре молодых инженера за одним столом дружно пишут заявления об уходе.

Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- Ты готов?
- Я готов.
- Побежали...

Сто сорок четыре ступеньки: через две — через две — через три; бегом к остановке: автобус отходит — отходит — отходит; лестница вниз — подземный переход — переход — переход — лестница вверх; горохом по эскалатору — «Стойте справа, проходите слева»: справа идут, слева бегут; броском в вагон — по ногам — по ногам — по ногам: «Куда прете? Дайте сойти... Дайте сойти! Дайте...»; из вагона на переход: два эскалатора вниз — один вверх: когда надо вверх, они вниз, когда надо вниз, они вверх; с перехода снова в вагон: по ногам — по ногам — по ногам: там ты, тут тебе; из вагона снова на эскалатор: два вниз — один вверх: закон максимальной подлости: там тебе и тут тебе, — враг тот, кого мы толкаем в спину, и тот, кто толкает в спину нас („А этот медленно... А этот очень уж медленно... А этот нарочно медленно, сволочь!..”); с эскалатора на трамвай:

стоим на остановке, от нетерпения перебираем ногами: «Ну, где же он? Где же он? Где?..»; с трамвая бегом — сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами: шаг в шаг — вдох-выдох — вдох-выдох, — мелкими, жадными глотками, — выдох — выдох — выдох — вдох; дверь в проходной: тах! — трах! — еще — еще — чаще — чаще — чаще — барабанная дробь — смертельный номер под куполом: стук обрывается — двери настежь — непрерывный поток; турникеты крыльчатками насосов сосут — сосут — сосут людей: утром туда, вечером обратно — туда-обратно — туда-обратно — туда-обратно: «Дай ответ... Не дает ответа!» Гипнотизеры теряют квалификацию: не выходит, не получается, не засыпают: человек сидит, а внутри всё бежит; экскурсоводы сбиваются с ног: «Слева Манэ, справа Монэ, слева Ван-Дейк, справа Ван-Гог, слева импрессионизм, справа натурализм, впереди реализм, позади абстракционизм»: не дожили классики до такого издевательства, не добежали; катки для трамбовки асфальта простаивают: не идут шоферы, не нанимаются — кто может выдержать такие скорости? никто уже не может; бегуны — а не бегуны? — опрокинули физиологию: человек-жираф, человек-страус, человек-гепард, «Человек — это звучит гордо!»; кофе двойными порциями, чтобы подтолкнуть, чтобы подстегнуть, угнаться и не отстать: растворимое, моментально растворимое, Бразилия может спать спокойно: мы не подведем, мы всё выпьем; чай кружками, полпачки на заварку, зарядка на день: индийский, грузинский, цейлонский — в кучу, для крепости — гонка за лидером, гонка за самим собой; утром — кофеин, вечером — андаксин, триоксазин, димедрол, элениум: к ночи, на сон грядущий, чтобы из сверхвозбужденного состояния перейти в обычное, возбужденное; нервные клетки не восстанавливаются — люди обратно не возвращаются («Все умирают и умирают... Хоть бы кто-нибудь когда-нибудь вос-

крес!») — станции Отрадная, Немчиновка и Баковка поезд проследует без остановок — тронутое руками считается купленным — «Если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре ГУМа, у фонтана» — «Наука и техника дошли до невозможного» (Год 1927-й, из высказываний) — «У нас в Харькове строят подземный переход, и мы тоже скоро будем иметь эту жизнь» — туда-обратно — туда-обратно — туда-обратно — утром туда, вечером обратно — колоннами — колоннами — сомкнутыми колоннами («Послушайте». — «Отстань». — «Ну, послушайте...» — «Некогда». — «Я вас прошу...» — «Отстань, кому сказано!» — «Пожалуйста! Кто-нибудь!...») — а насосы сосут и сосут, а в колоннах бегут и бегут, чтобы однажды вынырнуть из толпы, отдышаться, обалдело завертеть головой: «Какое у нас сегодня число? Год какой?» — и опять нырнуть на несколько лет...

Вдруг, шум... вой сирены... визг тормозов...

Шприц...

Битое стекло в ватке...

Развороченная постель...

Одеяло на полу...

Невыносимо тоскливый, душный запах лекарств...

И вот уже из окна дома смотрит на улицу больной. Пристально. Не мигая. Мудро и отстраненно. Болезнь — это остановка с разбега, это удар о стену. Машина уже лежит, но колеса еще крутятся...

— Хоботков?

— Да-да.

— Константин Сергеевич?

— Он самый.

— Что с вами?

— Ничего. Спасибо. Теперь лучше.

— Поправляетесь?

— Пытаюсь.

— Получается?

- Не очень.
- Возрастное?
- Ну, что вы...
- Хроническое?
- Наверно.
- Чем лечитесь?
- Думаю. Учусь думать.

Каждый год в конце декабря к нам приходит завхоз и выдает новый, перехваченный цветной бандеролькой настольный календарь. Мы разрываем бандерольку, берем в руки год непрожитого еще времени, и его вещественность потрясает, выбивает из привычного ритма привычных мыслей, и облачко неделового раздумья набегает на лицо. Пауза. Короткая пауза. А потом мы выбрасываем старый календарь, вставляем новый и перекладываем справа налево первый листок. И всё. И конец. Стоит только начать. Из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — лестница вверх — лестница вниз — по ногам — по ногам — по ногам... Это как двадцать второе июня, когда день начинает уменьшаться. Еще впереди все лето, впереди земляника, грибы и яблоки, купание и отпуск, но день уже короче и зима ближе. Сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами — шаг в шаг — вдох-выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — вдох... И так до конца декабря, когда приходит завхоз — распорядитель времени, выдает очередные триста шестьдесят пять талонов на жизнь, и облачко неделового раздумья набегает на лицо. Остановка. Тайм-аут. Привычные мысли спотыкаются на укатанных извилинах. Свисток. Побежали дальше. Дальше — дальше — дальше... Куда? В какую сторону? Думать некогда. Задумаешься — отстанешь. Но все-таки куда же? Дальше!

И у тяжелой, продолжительной болезни есть свои преимущества. Сломан привычный распорядок, сбит

навязанный темп, и взамен будничных мыслей-рефлексов всплывают на поверхность глубинные. Вялые, лениво-неприкаянные, заторможенные поначалу, тычутся куда попало, как слепые котята в поисках теплого и привычного брюха матери-кошки. Но вот что-то шевельнулось в глубине, нехотя оторвалось от топкого дна, покачалось в нерешительности и пошло, разгоняясь, наверх — верткая, бесформенная громадина, — и трудно предположить, что выскочит на поверхность: шустрый пузырь болотного газа или здоровенное, в два обхвата, осклизлое, в водорослях, бревно, которое стоймя подпрыгнет над поверхностью и взбаламутит цветущую ряску...

Саша Терновский сидит в белом накрахмаленном халате за новеньким немецким кульманом, нога на ногу, брюки аккуратно поддержнуты, руки сцеплены на коленях, в зубах зажат «кохинор». Саша думает. На стене рядом с ним портрет Эйнштейна с высунутым языком, фото загрязненной нефтью реки с табличкой на берегу «У воды курить воспрещается», кусок истоненной, ржавой подковы. Поверх всего тушью по узкому ватману: «И этот тоже учит!» Когда Сашу отрывают от размышлений, он демонстративно поворачивается к стене и долго читает по складам: «И этот... т-о — то...ж-е — же... то-же у-чит...» Саша — человек гордый и замкнутый. В чужие дела не лезет, в свои — не пускает. Друзей нет — одни знакомые. Врагов тоже нет. Врагов иметь — только себя унижать: такие враги нынче пошли. Фамильярности не терпит, анекдоты не рассказывает, с каждым на «вы» — отстаивает свою независимость. Даже в мелочах. Главное — в мелочах. В мелочах наша независимость. Уже много лет он уходит с работы точно по звонку. Раньше нельзя — будут придирааться, требовать унижительных оправданий, позже тоже нельзя — разбалуешь начальство, и ему захочется, чтобы ты оставался по

вечерам на работе. Начальство надо воспитывать, и Саша делает это постоянно, и есть уже результаты. Он работает в перспективной группе, начинает конструирование с нуля, облекает бесплотные идеи в конкретные формы. Смахнет пыль с доски, наколет чистый лист ватмана, проведет по нему рукой, погладит, а потом садится, думает.

Сашу Терновского понапрасну не беспокоят, думать не мешают. Сам Главный уважает его за конструкторский вкус, за инженерную храбрость, за умение понимать с полуслова и мыслить вслух. Не всякому это дано, не каждый на такое решится. Когда Сашин начальник идет к Главному, то берет с собой целую свиту. Главный обрушивает на них каскад мыслей, предположений и гипотез, а они не переспрашивают, стараются только запомнить, а потом долго и мучительно разгадывают, какой тайный смысл вложил Главный в свои слова, чтобы угадать, в каком направлении двигаться дальше. И ощущение того, что они что-то позабыли или не так поняли, не покидает их, и если бы было можно, они брали бы с собой стенографистку. А Главный, может, просто делится своими мыслями, может, метод у него такой: в споре найти лучшее, но его метод не каждому под силу. Уж лучше бы он дал указание. Любое. Самое сложное. Тысяча указаний легче одной гипотезы.

Саша Терновский разговаривает с Главным на равных. Если не согласен, он спорит. Если ошибается, не думает о том, какое это произведет впечатление. Ему уже предлагали повышение, но он пока отказался. «Я не хочу быть начальником. Я хочу быть подчиненным у хорошего начальника». Приходит на работу, надевает белый накрахмаленный халат, садится за немецкий кульман, нога на ногу, брюки поддернуты, руки сцеплены на коленях, в зубах зажат «кохинор». У начальства — план, беготня, текучка, а здесь — размышления над чистым листом ватмана, когда не

поймешь со стороны, о чем же он, собственно, думает.

Рита Колчина вышла замуж в двадцать восемь лет. Иллюзий давно уже не было, а просто подошел возраст, когда надо было торопиться устраивать жизнь. Она вышла за Сашу Терновского, без любви, без особой привязанности — он предложил, она согласилась, — и с той поры они всегда были вместе: вместе шли на работу, вместе обедали в столовой, вместе возвращались домой. Всё вместе и всё в отдельности. Замужество ничего не изменило: работала также вяло и без интереса, равнодушно чертила постылые кронштейны — ни уму, ни сердцу эти железки, — и даже близость с мужчиной взволновала ее меньше, чем она ожидала. Темпераментная на сцене — этим она когда-то гордилась, — она оказалась холодной в жизни, и это ее оскорбило, унизило, заставило искать причины вне себя. И Саша Терновский, который не знал других женщин, не мог, даже если бы захотел, опровергнуть ее предположения.

Однажды на улице она случайно встретила Валую Грудева, героя-любownika, бывшую свою институтскую любовь. Валя Грудев, все такой же красивый, но уже расплывшийся дурак, был оставлен в институте на кафедре, руководил самодеятельностью, — для того и оставили, — сам играл. Он шумно, по-театральному, обрадовался, усадил Риту в такси, отвез к себе домой в холостяцкую квартиру, достал из холодильника дежурную бутылочку сухого вина, дежурные конфеты. Как в лучших домах, как в лучших ролях... Он красиво ухаживал, красиво обнимал, красиво, не настаивая, раздевал, — рядовой спектакль, давно уж не премьеры: искусство для неискушенных, — и Рита не мешала ему, потому что захотела, наконец, проверить себя. Спектакль шел своим накатанным ходом от одной мизансцены до другой, не

умолимо приближаясь к кульминации, и вдруг Рита почувствовала, — подсказало старое актерское чутье, — что она не участник спектакля, а только зритель, заинтересованный зритель — не более. И тогда она выгнулась, отстраняясь, и с силой ударила его по лицу, еще и еще, по глазам, по губам, по белой маске, заслонившей потолок, и Валя Грудев справедливо обиделся за нарушение драматургии, за несыгранную до конца роль. Она выскочила на улицу, застегиваясь на ходу, дрожа от омерзения, и обвинять после этого стало некого. Глупо обвинять самого себя.

Беременность ее шокировала. Привыкнув смотреть на себя со стороны, глазами других людей, она возненавидела Сашу Терновского, из-за которого стала толстой, неуклюжей и смешной, которому было хорошо, когда ей было плохо, который не мучался, когда мучалась она. Она ушла в декрет, родила дочку и на работу больше не вернулась. Устроилась в маленькую контору, рядом с домом. На той работе были сложные инженерные проблемы, были однокурсники, продвинувшиеся по службе, был муж, умница, светлая голова, который только подчеркивал ее неспособность к технике, а здесь, на новом месте — чужие, безразличные ей люди и маленькие проблемы, которые можно презирать даже в том случае, если ты с ними не справляешься. Там хорошо, где нас нет. Более того: там, где нас нет — так же, как и у нас. А это уже позиция. С этим уже можно жить. Есть, пить, спать, смотреть на себя со стороны...

Саша Терновский после работы гуляет с дочкой. Стоит во дворе, книжку читает, а дочка возле его ног возится. Она отойдет в сторону, и он отойдет, а глаза в книжке. После гуляния накормит ее, сказку расскажет, спать уложит. Дочка спит, Рита спит, а он сидит на кухне до ночи, чай пьет, книгу читает, тишину слушает. В квартире тихо, на улице тихо. Голова чистая,

ясная, всё под силу. Спать обидно ложиться. А думать — если по-серьезному, — не о чем. Мозги не загружены. Порожняк. Где сложные проблемы, где яростные споры, где столкновения идей, позиций, мировоззрений? Всё давно решено, всё подписано. Саше Терновскому делать нечего. Саша может ложиться спать. В театр они не ходят: Рита не любит на актеров смотреть, рану бередить, в гости они тоже не ходят: Саша не получает удовольствия от коллективного веселья. И потом, в гостях надо пить, а у него организм водку не принимает. Как заяц, петляет между рюмками под дулами настойчивых приглашений. «Не люблю я...» — «А кто ее любит?» — «Противно...» — «Он думает, нам приятно». Иногда Саша ездит к матери, на старую свою квартиру, запирается в фотолаборатории, включает допотопный проигрыватель, разглядывает сотни портретов с нерезким изображением молодого Саши Терновского. Подрок в квартире соседский парень, не поленился — подрисовал ко всем лицам чернильные усы. Идиотская работоспособность. Неделю, не меньше, старался. Смотрит Саша на свои изображения — всё не в фокусе, одни усы в фокусе, — музыку слушает, размышляет в оцепенении... „Э-эх! Что-то ты, парень, обмелел...”

Толя Кошёлкин умирал в своей жизни много раз: несерьезно, несолидно и ненасовсем. Альпинизм, гонки на скутерах, акваланг, даже туризм — делали свое дело, и если бы он увлекся безобидными шахматами или собиранием спичечных этикеток, неизвестно, к чему бы это привело. Каждый раз после очередной катастрофы врачи удивлялись, почему он остался в живых, и каждый раз он увлекался заново, чтобы снова умереть и снова удивить врачей. «Чего ты добиваешься? Ну чего?!» — «Я не добиваюсь. Это я так живу». Он был неудачник, хронический неудачник,

клад для окружающих, находка среди однообразия жизни, потому что неудачи с ним случались часто и все они были веселого свойства. Люди хохотали, когда он умирал, — так это было весело, — и за это его любили и совсем не жалели. В отличие от хмурых, тоскливых неудачников, которых жалеют, но не любят, от которых отворачиваются, чтобы не видеть, от которых откупаются, чтобы не щемила совесть.

Толя Кошёлкин умирал в своей жизни много раз, и никогда это не было связано с его профессией, пока, наконец, его работа не совпала с его увлечением. Он перешел в отдел испытаний, ездил на полигоны, сам снаряжал, сам проверял, сам испытывал, лазил во все дыры: редкое чутье на неполадки. Ведущий инженер, практик-испытатель, вся жизнь в командировках. Жил в гостинице, вкалывал на площадках, жрал по-быстрому в «рыгаловке» — лишь бы погорячее, — вечерами слонялся по этажам, играл в карты, зевал у телевизора, а по субботам залезал вместе со всеми в грузовик, ехали с ночевкой на речку, привозили полный кузов раков. В воскресенье шли в город, гуляли по главной улице. Заходили на базар, в универмаг, в магазин «Книги»: вот и все развлечения. В гастрономе мужчины безнадежно спрашивали дефицитную водку, и когда ее наконец привозили, когда везли с железнодорожной станции, за грузовиком бежала очередь, серьезно, сосредоточенно, в строгом порядке, вырстая на ходу, потому что заранее было неизвестно, в какой магазин ее повезут. В понедельник утром технари, младший обслуживающий персонал, собирались в курилке, дышали друг на друга сложным перегаром, угадывали кто что пил. „Кармен??“ „Не-а...“ „Огни Москвы?“ „Не-а...“ „Жасмин?“ „Точно!“ Перед праздниками командировочные рвались домой, в Москву, лезли в вагоны без билетов, совали проводникам деньги — лишь бы пустили в тамбур, — а самые дошлые бежали на

свой, на полигоновский аэродром. Прилетал грузовой самолет, пилот — толстый, пузатый, с ремнем где-то под брюхом — важно глядел на возбужденную, заискивающую толпу желающих, держал томительную паузу. Кого хотел — брал. Кого не хотел — не брал. У него не ГВФ, не рейсовая линия. Набивались в самолет, тесно усаживались на железные скамейки вдоль фюзеляжа, на ящики, прямо на пол, дрожали от холода и от вибраций. Недельку-две Толя жил дома, ходил со всеми на работу, писал отчеты по испытаниям, а потом, вдруг, чемодан в руки — и на самолет.

Толя Кошёлкин женился неожиданно, почти мгновенно, в один из своих приездов в Москву. В городе была эпидемия гриппа, врачей не хватало, и к нему прислали студентку с последнего курса. «Доктор, — сразу предложил Толя. — Пойдемте в кино». — «Вы больной. Вам надо лежать». — «Доктор, посидите со мной. Я опасно больной». — «Ничего страшного. Аспирин три раза в день». — «Аспирин... — передразнил Толя. — И это называется женщина». Она фыркнула, засмеялась весело, залиvisto, закинув голову, и Толина судьба была решена. Он провожал ее домой, за Окружную дорогу, к чёрту на кулички — «Красивые девушки не должны так далеко жить», — а под утро, чуть живой, постанывая от усталости, шлепал по пустынному шоссе, голосовал редким машинам, радостно и счастливо пел глупую песню: «Чок-чок, пяточок, шагай Толя-дурачок... Где твоя невеста? Во что она одета? Как ее зовут? Откуда привезут? И зачем тебе всё это надо?..» Через неделю его подкараулили местные ребята и прилично избили, и били потом пару ночей подряд. Всё шло нормально, по неписанным законам хронического неудачника — увлечение, как обычно, вело Толю к неминуемой гибели, — и тогда он уговорил свою красавицу, уговорил ее родителей, и ночью, когда его опять собрались бить,

показал местным ребятам новенький талон в магазин для новобрачных. Многие предрекали, что и это его увлечение кончится плохо — просто временная задержка, — но оно плохо не кончилось, а может быть, не успело. Толя приезжал с полигона веселый, возбужденный, вместе с женой ходил по гостям, врывался, тормошил, переворачивал по-своему, не стесняясь, при всех обнимал жену, жадно целовал. «Перестань, — говорили ему. — Потерпи до дома». — «Некогда, ребяташки, некогда! Наверстываем упущенное. Жизнь свою наверстываем». Когда они уходили домой, стремительно, без предупреждения — вот они были, а вот их уже нет, — у оставшихся появлялось такое ощущение, будто зазвенела внутри давно умолкшая струна, звенела тонко, тоскливо, завистливо, не могла успокоиться. «Уезжайте! Плюньте на всё и уезжайте! Спасибо скажете, когда вернетесь».

На полигоне Толя Кошёлкин умер в последний раз. Умер глупо, обидно, по небрежности одного из равнодушных ко всему на свете технарей. Кто-то понадеялся на авось, как часто надеялись до этого: авось сойдет, авось проскочит, авось обойдется, лишь бы заработало сейчас, в сию минуту, а потом переделаем, потом сработаем на совесть, как надо, но «потом» всегда остается на потом, а «авось» срывает неожиданно, бомбой замедленного действия.

В последний раз Толя Кошёлкин умер просто, буднично, невесело и насовсем. Долго никто не верил, даже после похорон, долго всем казалось, что опять он лежит в больнице, скоро выйдет и можно будет всласть посмеяться над его очередной неудачей. После него осталась жена, но детей после него не осталось. Такие люди не должны умирать. Не так богато мы живем, чтобы разбрасываться такими людьми. А если они умирают, кто-то должен остаться взамен. Чтобы было над кем посмеяться, чтобы поблекли наши неудачи на чужом фоне, чтобы радоваться своей

— кто бы мог подумать?! — счастливой доле... Толя Кошёлкин умер, и никого после себя не оставил.

Его портрет лежит у меня на столе под стеклом. Молодой, радостный, полный сил. Когда мне плохо, когда мне очень плохо, когда скверно на душе и ничего не получается, когда нет возможности сделать так, как хочешь, и доказать то, что хочешь, когда натыкаешься на непробиваемую бездушную стену, когда обижен и чувствуешь несправедливость, когда тупые, сальные рыла рядами заслоняют горизонт, когда привычная тоска холодной лапой грубо сжимает сердце, я смотрю на этот портрет и вслух — обязательно вслух, иначе не поможет — говорю сам себе: «Всё в порядке. Всё в полном порядке! Мне хорошо. Мне очень хорошо. Просто великолепно. Мне лучше, чем ему...»

Где ты, мой милый, мой застенчивый друг? Куда ты уходишь, куда ты ушел от меня? Сгладились черты твоего лица, стерлись очертания фигуры, и только неясный силуэт проглядывает на дороге: ты ли это удаляешься от меня или приближается ко мне кто-то другой? С годами я становлюсь дальнотзорким, но вижу тебя всё хуже и хуже: какие для этого нужны очки, какие увеличения? А ведь когда-то мы были с тобой одно целое, единый организм: твой вдох — мой вдох, твой выдох — мой выдох, но я не уловил момента, когда ты отделился от меня и встал рядом, я этого просто не заметил, потому что мне было некогда, потому что я спешил. И поначалу казалось, это я уйду от тебя, это я бегу куда-то, куда надо и куда стоит бежать. Не только я — все бежали, толкая друг друга в спины, толкая в спину самих себя, а ты стоял на месте и смотрел вслед. Ты стоял не один: вас было много, потому что нас было много. Вы смотрели нам вслед и молчали. Только губы беззвучно шевелились. А может, мы не слышали ваших слов: бежишь-шумишь, шум — это доказательство, шум — это

оправдание, шум — это цель. Не шумит тот, кто ничего не делает. И бежать без тебя было легче, спокойнее, иногда выгоднее. А потом вместо тебя пришли другие — мой вдох — их вдох, мой выдох — их выдох, — и я опять не уловил момента, когда они заняли твое пустующее место. Природа не терпит пустоты, — так нас учили в детстве, — и если от тебя ушел застенчивый, его место займет хам, если ты прогнал доброго, ты принял злого, и вместо честного человека жди проходимца... Орда. Дикая орда. Топчем самих себя. Это страшно: мы под копытами. И незаметно: копыта — это мы.

Где ты, мой милый, мой застенчивый друг? Куда ты уходишь, куда ты ушел от меня? Было время — ты свистел у меня под окнами, и я знал, что это идешь ты. Я давно уже не слышу знакомого свиста, я давно уже не знаю, что с тобой. Бродишь ли ты, как раньше, теплыми вечерами по тихим, пустынным переулкам, когда тополиный пух легкими прядями ложится на мостовую и сдувается ветром в длинную непрерывную полосу вдоль бортика тротуара? Ребятишки поджигают его, и фыркающий огонек резво бежит по переулку, как по бикфордовому шнуру, до самого перекрестка под детский визг и пронзительные крики. Во дворе горит костер, кто-то качается на качелях, и черные силуэты — летучие мыши — беззвучно проносятся на фоне огня и исчезают в темноте, чтобы снова появиться и снова исчезнуть. Из окна вылетает папироса, ударяется о подоконник и, рассыпавшись в сноп быстрых искр, плавно летит вниз, кружась пропеллером. Начинается дождь, неторопливо, крупными каплями, как бой гигантских часов. Вдоль тротуара, носами к улице, стоят черные машины. Двери закрыты, стекла подняты, в каждой сидит шофер. Они сидят в отдельных металлических коробочках и только вертят головами, оглядывают друг друга через стекла. А в трамвае открыты все окна. Ветер гуляет в трамвае, и

вместе с ветром белыми прерывистыми струйками проносится через вагон тополиный пух. Легкий, воздушный, захлебнувшийся ветром трамвай идет по городу, а на полу среди сумятицы ног ползет маленький паук. Ты напряженно смотришь вниз, — раздавят или нет, — пока он чудом не уползает под сиденье, а трамвай уже идет по мосту, и черный от дождя асфальт на середине моста неожиданно становится пятнистым, а потом и совсем серым. Это граница дождя, его предел, будто река делит город на две части: на дождливую и на безоблачную. Ты въезжаешь в безоблачный город, как в чужую страну, и как в чужой стране, с любопытством проходишь по улицам. Ты идешь стороной, прижимаясь к стенам домов. Ты всегда прижимаешься к стенам в отличие от тех, кто идет посреди тротуара, гордо подняв голову. Это на них обращено всеобщее внимание, это их замечают и отличают в первую очередь, а тебя будто бы и нет на свете. Но ты есть: ты с краю, ты около стенок... „Не стыдись! Не смей стыдиться!.. Сегодня здесь стыжусь я. И вообще, там, где есть я, стыжусь я. Ты — мой заместитель...”

Где ты, мой милый, мой застенчивый друг? Куда ты уходишь, куда ты ушел от меня? Я забыл твой голос, твое лицо, твою походку. У меня мало твоих фотографий — ты не любил сниматься, — да и что может сказать фотография? Я беру в руки лист глянцевой бумаги. Я вглядываюсь в чужое лицо. Я ищу в нем себя и не нахожу. Я — это он. Но он — это не я. Куда девались прежние мысли, чувства, побуждения? Вот они были, а вот их нет. Пропали, растворились постепенно, безо всяких усилий. Колоннами — колоннами — стройными колоннами... Под общим наркозом. Бежишь — шумишь... Шумишь — бежишь... Как банально мы умираем! Как банально — просто жуть! И трубы не трубят, и знамена не склоняют, и орудия не салютуют... Во мне ничего не осталось от тебя. Толь-

ко тоска. Тоска по тебе. Тоска по себе. Где ты?.. Где ты, мой милый?.. мой застенчивый?.. мой друг?.. Куда ты уходишь?.. куда ты ушёл... куда?.. Воздуху! Воз...ду...ху...

Окно настезь...

Улица в комнату...

Броском в вагон — из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — шаг в шаг — вдох-выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — вы-дох...вы...вы...вы...Вдох!

- Скорая?! Скорее!..
- Фамилия?
- Хоботков.
- Имя, отчество?
- Константин Сергеевич.
- Возраст?
- Тридцать шесть.
- Ждите машину.

Далеко внизу, на фоне зеленых беспорядочных пятен земли летели куда-то белые черточки — птицы. Самолет их настиг и обогнал, и сверху казалось, будто птицы улетают от нас хвостами вперед. Потом они врезались в облака, подсвеченные солнцем, на мгновение вспыхнули нестерпимо розовым светом и исчезли, будто сгорели. А когда остались позади завалы облаков, по светлому еще небу свободно и вольно поплыли в сторону заката розовые гуси. Огромные, легкие, перистые... Каждый в полнеба. Я улетаю от них или они улетаю от меня?..

Где-то там, позади, остался лес, лапчатый и мохнатый, блестящая на солнце лыжня с дырками от палок, нестерпимая резь в глазах, холодок в горле, будто непрерывно пьешь зимнюю, студеную воду, пьешь и

никак не напьешься. С ходу сошел с лыжни, зарылся в снег, и высоко, дурашливо вскидывая ноги, вбежал в березнячок. Кричал. Глупо махал руками. Петлял между березками. Хрустел желтоватым, льдинисто-ломким настом. Истоптал весь, запыхался, раскинул руки, плашмя упал в рыхлый, рассыпчатый снег, зарылся лицом, затих. Лежал неподвижно, перед открытыми в снегу глазами плясали серебряные иглы, сразу же занемел лоб и скулы, и холодок из горла ушел глубоко, внутрь. Потом встал и, не отряхиваясь, ушел по бесконечной лыжне, а на снегу остался лежать человек с раскинутыми руками, буква Т, знак разрешаемой посадки. Я оглядываюсь назад и вижу его до сих пор. Это было давно, но это осталось где-то рядом, поблизости. Стоит только протянуть руку, и ты до него дотронешься. Стоит только позвать, и ты услышишь ответ. Как приглушенный крик восторга, как далекое эхо, как умирающий над беспредельными просторами звук...

После меня остается черная, залитая водой полоса асфальта, вскипающие от дождя лужи, захлебывающиеся водостоки, гремящий, подпрыгивающий на скорости грузовик. Мы сидели на дне кузова, прижавшись к кабине, коленями в подбородок, и косой срез дождя шел от верха кабины до наших ног. Кругом — сверху, снизу, с боков — редела и рокотала вода, а мы — чудом сухие — сидели как бы в шалаше с покатой крышей, а крышей шалаша был дождь и стенами — тоже дождь. Грузовик шел на предельной скорости, от колес заворачивались буруны, и когда он притормаживал, покатая крыша дождя уменьшала свой наклон и неумолимо приближалась к нашим ногам, а с боков срывались злые струи и резко хлестали по лицу. От Сокола до Белорусского вокзала летели мы, сухие, в сплошных потоках воды и грохота, под жгутами молний, сердце замирало в азарте, красный, ярост-

ный, циклопий глаз светофора мгновенно добрел и пропускал без остановок — остановка — смерть, — а мы хохотали, тесно прижавшись друг к другу, слившись воедино, чужие, незнакомые до дождя люди. Ее волосы падали мне на лицо, ее глаза были около моих глаз, ее платье, будто она сама, билось и трепетало на ветру, и стены шалаша неумолимо надвигались на нас. За Белорусским вокзалом мы вырвались из-под тучи, грузовик сразу же встал, и шофер хрипло и возбужденно заорал из окошка: «Живы, голубчики?!» Живы, живы, еще как живы!..

Мы прибежали на пляж, быстро, наперегонки, раздевались, в азарте кидались в воду, задыхаясь,плыли к буйкам. Я подныривал, переворачивался на спину, смотрел снизу вверх на легкий, колеблющийся силуэт, на солнечные блики вокруг призрачного тела, на цветные пятна купальника. Раскидывал руки и медленно, не отрывая глаз — будто во сне, — опускался вниз, на дно. Потом всплывал, обхватывал под водой ее ноги, прижимался лицом, и грудь разрывалась от пронзительной радости или от нехватки воздуха...

Обратно ехали в поезде. Выбегали на каждой станции, покупали пироги, арбузы, цыплят, торопливо глотали в станционных буфетах горячий, огненно-красный борщ, набивали в карманы огурцы, помидоры, яблоки, бежали за вагоном, прыгали на ходу. И всю дорогу до Москвы ели, ели, ели... Сосед по купе, не старый еще, тощий, унылый язвенник, человек без аппетита, с вечным привкусом во рту от торопливых обедов и беспорядочных пьянок, с тоскливым раздражением смотрел на это азартное буйство молодых, здоровых желудков.

Не дай Бог потерять аппетит!

Не дай Бог...

Прежде всего появляется озабоченность. Ты еще веселый, но озабоченно-веселый. Ты еще жизнерадостный, но озабоченно-жизнерадостный. Ты еще легкомысленно-молодой, но у тебя уже стареют глаза. Прежде всего — глаза. Потом — остальное.

— Что вы такой озабоченный?

— Наоборот. Я радостный.

— Тогда радуйтесь.

— Я и радуюсь.

— Так не радуются.

— А как радуются?

Это случается незаметно.

Как облысение. Как омертвление клеток. Вялость мысли. Дряблость кожи и желаний.

И вот ты уже разучился радоваться успехам друзей. И встречать день с неясной надеждой. И улыбаться в ответ на чью-то улыбку. И сожалеть о неосуществимом. И шелухой отбрасывать несущественное.

И вот ты уже перестал доверять. По-детски, неоглядно.

И вот тебе уже не хочется искупаться ночью в реке. И пробежаться босиком по рассветной луговой траве. И по вечерам, лежа в кровати, ты не произносишь речи. И не летаешь во сне. Так, подскакиваешь помаленьку. И давно уже не завидуешь птицам. Когда птица спит, она накрывается крылом. Сверху крыло, снизу крыло, а в середине птица. Как в ладошках. Как в детстве. И снятся легкие, прозрачные сны.

И вот ты уже разучился сопереживать. Не ты один: мы все разучились. Не тронутые чужой бедой, не обласканные чужим сочувствием. Холодные, равнодушно пустые импотенты. Одни собаки еще сопереживают. Одни только собаки. И хорошо, если мы веселы: собака развеселит нас еще больше. Но если мы

грустны, можно застрелиться под ее сочувствующим печальным глазом. Можно просто застрелиться! Или застрелить собаку.

И вот ты уже подвел итог, во всем разобрался и загодя стал готовиться к зиме, укреплять тылы. И это в тридцать шесть своих лет! Так деревенские с лета еще готовят дрова, засыпают картошку в подпол, квасят капусту. А мы-то, мы, в наши молодые тридцать шесть! Когда силы еще не растрочены, время не утеряно, дела не переделаны... Не мешайте нам. Мы уже готовимся. К долгой зиме.

— Значит, всё?

— Всё.

Я уйду в себя, в квартиру, в мебель, в керамику, в торшеры, в туристы, в альпинисты, в скалолазы, в детективные романы, в марки, в значки, в спичечные этикетки, в дачи, в сады-огороды, в театры, в концертные залы, в кружки самодеятельности, в подписку на Хемингуэя, в пьянство, в разврат, в обжорство («Я ем. Следовательно, я существую.»), в йоги, в «моржи», в спортивно-оздоровительные группы, в теннис, в преферанс, в лыжи, в коньки, в лошадиные бега...

Я смотрю пристально, я смотрю внимательно. Мне кажется, я начинаю что-то понимать, но я ничего не понимаю, потому что понять это невозможно.

Всё серьезное — серьезно, и несерьезное — тоже серьезно.

Всё незначительное — значительно, а значительное — значительно в той же степени.

Всё со смыслом, но не во всем есть смысл.

Всё по поводу, и ничто — просто так.

Всё естественно, и неестественность — в том числе.

Всё обязательно, и оттого необязательно.

«Можно» и «нужно» меняются местами.

«Да» и «нет» звучат одинаково.

«Ты» и «я» — не всегда «мы».

Осень — золотая, степь — широкая, слава — не меркнущая... Сладко, как на кондитерской фабрике. И как на кондитерской фабрике, хочется соленького, хочется кисленького.

...я уйду в футбол, в хоккей, в церковь, в телевизор, в работу, в курилку, в золотых рыбок, в собак, в кошек, в певчих птиц, в магнитофоны, в песни Галича, в комиссионные магазины, в анекдоты, в ханжество, в беспринципность, в равнодушие, в карьеризм, в детей, в охоту, в рыбную ловлю, в выпиливание, в вышивание, в столярничество, в игру на гитаре, в шахматы, в домино, в автомобиль, в мотоцикл, в мотороллер, в подворотню, в тоску, в безделие...

Мне есть куда уходить, но приходиться мне некуда, и я никуда не пришел.

Вера Гавриловна, мама Кости, — пенсионер. Подал заявление ее старый, бессменный начальник, и она подала. У начальника глубокий склероз, распад полный. Работал — держался, ушел — расслабился. Плохо говорит, с трудом понимает, заговаривается, теряет память, без причины плачет. Сколько нервов потратил за годы службы: сплошные авралы, к концу любого месяца штурмом перевыполняли невыполненное. Сколько ночей просидел в министерстве в ожидании возможного звонка сверху: нужен — не нужен, сиди до случая. Вся Москва, все крупные учреждения ночи высиживали неизвестно для чего. А сколько раз их сливали, разукрупняли, сокращали, реорганизовывали: «В целях дальнейшего улучшения...» В министерстве, как на вулкане. Работа на износ. Еще хорошо, что до пенсии дожил. Пенсия есть, а здоровья нет. Ходит Вера Гавриловна к своему бывшему начальнику, помогает его жене за ним ухаживать. Хо-

дит к сыну Косте — тоже помогает. На работу теперь не надо, дел поубавилось, а она, как прежде, в заботах и хлопотах. И всё быстро, всё скоро, всё бегом. Когда в квартире звонит телефон, она первой хватается трубку, торопливо отвечает: «Алло!» Будто пробегала в этот момент мимо, остановилась на секунду и сейчас побежит дальше. К старости в человеке шелухой отбрасывается второстепенное, несущественное, остается главное, определяющее. У Веры Гавриловны главное — доброта. И с годами доброта увеличивается. Заболеют в квартире — она ухаживает. Кому что надо — она сделает. Ее еще и не просили, а она уже сбегала, принесла, помогла приготовить. Ходила на Палашевский рынок, пожалела закутанную, обмерзшую, закончившую над мешками сиплую тетку. Купила у нее картошки, сбегала домой, наварила кастрюлю, положила масла, огурчиков, налила горячего чаю в термос, принесла на рынок. У тетки руки не сгибались, еле отогрела пальцы над стаканом с чаем. Даже всплакнула тетка от удивления, от непривычного чужого участия. Даже насторожилась от этой, вроде, бескорыстной заботы: не понимала причины. Такая жизнь пошла дерганая да суматошная: тут и о себе-то позабудешь, не то что о других. Сидит Вера Гавриловна вечерами у телевизора, передачи смотрит. Когда на экране показывают немцев, выключает телевизор, забивается в угол дивана, сидит-тоскует. Не может позабыть Вера Гавриловна братскую могилу посреди проклятой Германии. Не может простить — и не хочет. Есть вещи, которые не прощают. А у самой, как прежде, никогда ничего не болит, никогда ни на что не жалуется. Пока живы родители, они прикрывают своих детей. Дети позади, за спиной, в безопасности. Умирают родители — дети переходят в первый, незащищенный ряд. Сергей Сергеевич, отец Кости, — тоже пенсионер. Долго не хотел, долго сопротивлялся, пока на работе не ска-

зали прямо. „Если двое говорят „ночь”, третий должен ложиться спать”. Ушел на пенсию, изнывал от безделья, каждое утро вставал с головной болью, чем бы заполнить день, челноком тоскливо мотался по бульвару, туда-обратно, туда-обратно... «Мне сто лет, — говорил. — Теперь уже сто лет». Потом, вдруг, купил чертежную доску, с утра укладывал ее на обеденный стол, чертил. Придумал Сергей Сергеевич свой способ стыковки строительных блоков. Показывал в проектном институте, пробивал в комитете, полгода уговаривал знакомого директора, чтобы сделали опытную партию. Выгода явная, но для серийного производства нужны заказы, и потому ездит теперь Сергей Сергеевич по Москве и области, показывает снимки и образцы, агитирует за новшество. Сам не почешешься, никто не почешется. Твое изобретение, ты и пробивай. Кому охота на дядю работать? А он даже рад этому, иногда по неделям в поездках пропадает. Ест на ходу, спит где попало. Человек делает дело. Человек доволен. В том году хотели праздновать семьдесят пять лет, но он не дал. „Мне двадцать шесть. Мне опять двадцать шесть!” Тетя Мотя, богомолка, кликуша, совсем старая стала. Не по годам, — годы у нее несчитанные, — по здоровью. Приползает из церкви, садится на кухне, запахи из чужих кастрюль нюхает: „Супчику я бы поела...” Ей и отольют. Поест — и на лежанку. Коричневые узловатые руки поверх одеяла, кожа в темных пятнах отстает мешочком, пальцы скрюченные, как у курицы. Ждет тетя Мотя своего часа, когда опустятся с небес светлые ангелы, заберут ее с собой. Давно ждет, уж который год. Теперь, должно быть, скоро. А пока лежит, отдыхает перед дальней дорогой, комнату свою оглядывает, — иконы, табуретку, стол под салфеткой, — вздыхает от умиления. „По богатому я бедная, а по бедному богатая”. Хаймертдинов, муж Самары, умер сразу, как

только вышел на заслуженный отдых. Не успел даже пенсией попользоваться. Ничем, вроде, не болел, ни от чего, вроде, и умер. Вечером лег, утром не встал. Легкая смерть, всем на зависть. Всю жизнь считал, считал — и просчитался: все расчеты в амбарной книге полетели насмарку, вся пенсионная бухгалтерия прахом пошла. Самарья устроила по мужу поминки. Собрались соседи, выпили по рюмочке, помянули его негромкую жизнь тихим словом. Мужчины по комнатам разошлись, женщины помогли вымыть посуду. Самарья теперь тоже на пенсии. Зимой сидит на бульваре, воздухом дышит — вялая, снулая, глаза в одну точку, — летом выезжает за город с пионерским лагерем — тоже дышит. Ребята в лагере рослые, здоровые, не то, что раньше. Особенно девочки. Выстраиваются на линейке: на правом фланге девочки. Девочка, девочка, девочка, девочка, а уж потом мальчик. Днем все бегают в шортах, в майках — не поймешь где кто, — а вечером приоденутся, формы свои подчеркнут: в седьмом классе, дети еще, а хоть теперь замуж. За ними, за такими, глаз да глаз нужен. Да разве уследишь? Никакого персонала на это не хватит. Одна надежда на их пионерскую сознательность. Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, тоже на пенсии. Дядя Паша в последний раз утвердил планы клубных кружков, посидел на репетиции танцевального коллектива — девки молодые, горячие, закружатся — всё видать, — нехотя сдал дела своему заместителю. Теперь ходит в домовый комитет, выбрали дядю Пашу председателем. Сбылась, наконец, вековая мечта. Он председатель, а тетя Шура — простая жиличка. К концу жизни обогнал ее дядя Паша по должности, и потому относится к ней небрежно, без былого почтения. Занял сразу же диван-кровать, переселил тетю Шуру на узкую кушетку. Важно ходит

по дому, говорит мудро, загадочно, намеками, будто всё знает, будто имеет сведения с самого верха, по прямому проводу. «Учтите, — говорит, — скоро мы будем их развенчивать...» А кого «их» — не говорит, и за что развенчивать — не говорит тоже. Мелкий человек дядя Паша. По жизни прошел, а ума не набрался. Перед каждым праздником присылают тете Шуре с родной фабрики приглашение. Приходят на вечер старые работницы, сидят в президиуме, потом остаются на ужин, на танцы. Раньше были на фабрике бабы, теперь — девочки. У всех косметика, у всех маникюр, платья настолько выше колен, что в них можно только стоять, а садиться нельзя — стыдно. Старые работницы шепчутся, осуждают, губы поджимают укоризненно, а тете Шуре нравится. Она и сама в молодые годы голая на печке спала — девки удивлялись, и до первого льда в речку лазила, и после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. Жаль, что не было в ее время такой моды, да и возможностей тоже не было. Развивалась в то время группа А — производство средств производства, в ущерб группе Б — производству продуктов потребления. А если уж говорить точнее, то не на букве Б стояли продукты потребления, а где-то в конце алфавита, на букве Я. Зато Нинка с мужем цветут от полноты жизни. Пятеро детей — вещь неслыханная по нашим временам. Один, самое большое — два. А тут целый колхоз. И парни, и девки. Самообслуживание: предыдущий нянчит последнего. Дети в одной комнате, Нинка с мужем в другой, и никого из них к себе не пускает. Она еще молодая, муж молодой. Они жить хотят. «Давайте еще парочку», — подзадоривают приятели. «Всё, — объявила Нинка после пятого. — Закрываем это дело». Летом рассует детей по лагерям, по детсадам, по яслям, а сама с мужем — в Крым или на Кавказ. Облазили за эти годы все Памиры и Тянь-Шани, Валдаи и Кижы, а о Подмосковье и говорить

нечего. Берут отпуск, забираются в самую глухомань, ставят палатку, целый месяц валяются на солнцепеке в чем мать родила, прогреваются до костей, набирают солнышка на зиму, а когда приходит пора возвращаться — ногам тесно в ботинках. Теперь ввели два выходных дня, теперь многие раз в неделю устраивают походы с тяжеленными рюкзаками. Вышагивают немереные километры, забираются чёрт-те куда, всю свою энергию вбивают в расстояния, а потом разводят костер, подвешивают котелок, молча смотрят в огонь. И думать ни о чем не надо: после большого перехода голова тяжелая, мысли тягучие, незначительные. Если сверху, с самолета, взглянуть: горят в темноте костры, сидят вокруг люди. Бегство из города, бегство от самих себя. В понедельник еле до работы доползают, к среде в себя приходят, в пятницу вечером всё сначала: рюкзаки на плечи — и на электричку. А в электричке полно. Очень распространился туризм, особенно среди молодых, неженатых. Дома — родители, дома тесно, дома некуда уединиться, а тут одели джинсы, брезентовые куртки, доехали до первых кустов, выпили, попели песни, разошлись парами по палаткам. Что еще надо?.. Петя Лапушкин, всемирно известный цирковой артист, ушел насовсем от бывшей жены Тоси. Теперь у него новая жена — редактор, не чета старой. Курит сигареты в длинном, расписном деревянном болгарском мундштуке, одевается по парижской моде. У нее запросы, у нее интеллект, у нее самомнение. Будто не она его жена, а он муж жены всемирно известного циркового артиста. У них в редакции, где она работает, одни женщины. Стандартный вариант: все разведенные, все с детьми. Неустроенные женщины с вопрошающими глазами. Что-то разборчива стала нынче интеллигенция, что-то все время ищет и никак не может найти. А разведенные жены наводят красоту из последних средств, держатся из пос-

ледных сил, независимо дымят сигаретами: всю редакцию прокоптили. Сначала слабенькие сигареты, с фильтром, потом покрепче — „Шипка“, „Памир“, а там и до махорки рукой подать. Последние годы Петя Лапушкин не вылезал из-за границы, по много месяцев пропадал на гастролях: ел московскую копченую колбасу, тайком от горничных варил в номере суп из пакетиков, жарил яичницу на утюге — почти цирковой номер, сэкономил валюту. Зато когда возвращался, привозил вещи, джерси-нейлоны разные: что в дом, а что на продажу. Приходили женщины, знакомые жены и знакомые знакомых, возбужденно рылись в грудах красивого тряпья, тут же примеряли, тут же расплачивались, завидовали бессильной завистью. Теперь Петя Лапушкин не выступает. Теперь он режиссер, постановщик номеров и целых представлений. Седой, солидный мужчина: прекрасный костюм, на пальце перстень, слова умные произносит: задача, сверхзадача, сквозное действие, подтекст. Жена-редактор натаскала. Сначала было трудно, сбивался на цирковой жаргон, путался в терминах, потом освоился. С авторами беседует, указания дает. «Хорошо бы, — говорит мечтательно, — чтобы у клоунов позитив шел через негатив...» Авторы соглашаются. Действитель-

но, хорошо бы. А как? Бывшая жена его Тося работает на телеграфе, принимает телеграммы по телефону: „Сердечно поздравляем...“, „Дорогую и любимую...“, „Обнимаю, целую...“, „Счастья, здоровья, радости...“ Перед праздниками и Новым годом телефоны, как оглашенные. Наслушается Тося нежностей всяких, сюсюканья, красивых, одинаковых слов, — их не только слушать — их повторять надо, чтобы, не дай Бог, ошибка не вкралась, — и потом, после смены, такое ощущение, будто в одиночку съела огромный кремовый торт. И жизнь у Тоси скучная, без ласки. Нерегулярно ходит к ней сослуживец, техник по аппаратуре, солидный же-

натый человек. Полбутылки белой, грибочки, огурчки, колбаска, чай с вареньем. На полчаса запирает Тося дверь, потом до метро провожает. Он едет к семье, она возвращается домой. А наутро всё сначала: «Дорогую, любимую...», «Счастья, здоровья, радости...», «Целую, целую, целую...» Столько красивых слов на работе — и ни одного дома. Сережа Лапушкин, ее сын, в прошлом году окончил школу. Учился плохо, лениво, безо всякого интереса к любым наукам. Не шумел, не хулиганил: унылый, равнодушно злой парень, холодный, как собачий нос. Почему-то одно время решили, что дети ужасно перегружены учебой, и по сему случаю отменили почти все экзамены, ввели «дни здоровья» и прочие побрякки, что явно не способствовало увеличению знаний у подрастающего поколения. У Сережки Лапушкина, во всяком случае, не способствовало. Когда отец приезжал с гастролей, брал Сережку к себе, водил в цирк, показывал конюшни, знакомил с разными знаменитостями, давал билеты на просмотры. Как-то само собой подразумевалось, что Сережка тоже пойдет в искусство, а для человека искусства важны не школьные знания — важна его индивидуальность. Их подобралась группа: яркие индивидуальности, будущие гении. Угрюмые, презирающие друг друга мальчики, и экзальтированные, нервно-возбужденные девочки, которые металась между желанием встать над примитивной толпой с ее банальными условностями и боязнью потерять невинность. Они ходили на просмотры, особняком стояли в фойе, свысока оглядывали прочую случайную публику, постепенно созревали для великих дел. После школы Сережка Лапушкин подал документы на актерский факультет, — конкурс — сто человек на место, — но срезался сразу же, на первом просмотре. Таланта не оказалось, и появление его в ближайшее время не предвидится. Скоро возьмут в ар-

мию, а пока работает, ездит униформистом в бригаде „Цирк на сцене”. Возит их администратор, шустрый, остроумно пошлый человек, великий мастер организовывать взрослые и детские концерты. „Я очень люблю детей. В каждом из них заложено по пятьдесят копеек”. В маленьком городишке на Сахалине все дети радостно пели вместе с певицей: „Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!” Все дети пели и дирижировали, а два первых ряда плакали. Два ряда детдомовских детей плакали навзрыд посреди самозабвенно поющего зала — „Пусть всегда будет мама!” — и у певицы на сцене срывался голос, и толстая еврейка-аккомпаниаторша залила слезами все клавиши. А Сережка-балбес обхохотался с дружками за кулисами. Жизнь у Сережки легкая, примитивно беззаботная: что ни неделя — новый город, новая гостиница. Первым делом выходят на улицу, знакомятся с девочками. Два варианта. Всего два варианта. «Девушка, вы не против знакомства на улице?» — «Не против». — «Я тоже...» Далее что угодно, только без остановок. «Девушка, вы не против знакомства на улице?» — «Против». — «Я тоже. Но у меня нет другого способа познакомиться с вами...» Опять что угодно, только без остановок. Знакомятся с девочками, приглашают в номер, подпаивают, коллективно развлекаются. Никаких тайн, никаких откровений: половые отношения на уровне обезьяньего питомника. Выступали в клубе далекого рыбзавода, после концерта остались на танцы. Кучкой стояли у стены, презрительно оглядывали местных, острили, а потом Сережка, на спор, пошел приглашать девушку. Пока танцевал с ней, пока нашептывал на ушко, расстегнул на спине все пуговицы, оголил ее чуть не до пояса. Ребята радостно загоготали, заверещали, захрюкали, — Сережка победителем возвращался к своим, — а девушка догнала его, повернула за плечи, ударила ребром жесткой ладони по

носу. Была драка: резкая, жестокая, стульями, палками, железными прутьями. Местные дрались молча, без мата и ругани, чем удивили и испугали приезжих. Их выкинули из клуба, заперли дверь, и Сережка Лапушкин, размазывая по лицу кровь, срываясь на визг, зло орал в выбитое окно: „Мы завтра уедем отсюда, понял?! Мы уедем, а вы тут останетесь!..” Экштат Софья Ароновна все так же работает в поликлинике. Тридцать пять лет на одном месте. Это сколько же зубов она вырвала — не счастье! Лечился у нее один кинороботник, молодой, но ответственный. Когда отпустила боль, заявил от избытка чувств: «О вас, Софья Ароновна, фильмы нужно снимать». А она не возражает. Если нужно, снимайте. Вам виднее, про кого снимать, а про кого не снимать. Так ведь если бы у него постоянно зубы болели... А то когда он еще про Софью Ароновну вспомнит? Шла с работы, увидела в подворотне мужика без ног, с кожаной подушкой на асфальте, остановилась, бросила пятак в протянутую кепку. „Не надо, мамаша, — с силой снисходительностью сказал мужик. — Оставь себе на сахарок”. „Ну, почему же... — громко, на всю улицу, обиделась Софья Ароновна. — Я еще работаю”. А Экштат Семен Михайлович уже и позабыл, когда он в аптеке за окошком сидел. Стал нелюдимым, бредется редко, забросил любимую коллекцию, характеризующую его, Экштата Семена Михайловича, жизнь. Плохо слышит, пользуется слуховым аппаратом. Выходит на улицу, садится на скамейку, подсаживаются еще пенсионеры. Они беседуют, жизнь свою вспоминают, а он выключает слуховой аппарат, смотрит на шевелящиеся губы, догадывается. Потом вскакивает, говорит сердито, поперек: «А! Не морочьте мне голову...», и уходит. Предлагали ему оперироваться, чтобы слух улучшить, да он не согласился. «Так я хотя бы могу вас выключить...» И петь Семен

Михайлович уже не поет. Не заливается кантором, не мурлычет себе под нос. Его песня давно кончилась. На бульваре теперь пустынно, детей мало, одни пенсионеры. Няnek почти нет, исчезли няньки, как класс, а сидит на бульваре тетя Клава, в одиночку обслуживает население. Два раза в день подбрасывают ей детей, и она с ними гуляет, и коляска у нее есть, куда кладут грудного ребенка, но даже тетя Клава жалуется на недобор. А вокруг — одни старики. Молодежь, в основном, получила квартиры, ушла из центра. Раньше Черемушки были на краю света, а теперь Беляево-Богородское, Фили-Мазилово, Хорошево-Мневники. Дальняя даль, довоенные дачные места. После работы расползаются люди по домам и обратно в центр, — в театр или на концерт, — ни за что не вытащишь. Дочь Экштатов Манечка вместе с мужем Натаном построили кооперативную квартиру в Химках-Ховрино. Воздух, лес, водохранилище под боком, рассрочка на пятнадцать лет. Выходят на свой балкон, а внизу крыши, крыши, крыши до самой Левобережной. С их высоты пятиэтажные дома, как игрушечные. Ведь это же сколько не хватало жилья, если так понастроили — и все равно мало. Кооперативный дом окружен простыми домами и их, буржуев, не любят. Зайди в булочную, спроси: „Мягкого хлеба нет?“, сразу взрываются: „Понаехали! Баре какие...“ Купила Манечка финский гарнитур, простого дерева низкие шкафы, торшер, бра, коллекция свечей, портрет Хемингуэя. Приходят гости, говорят о поэзии, слушают музыку, пьют кофе из керамического сервиза. Ходит вокруг ангорская кошка, трется о ноги. Ласковая, воспитанная: родословная, как у хорошего князя. В интеллигентной семье и кошка — интеллигент. Тон в квартире задает Манечка, а муж ее, Натан, с полочки идет со своей инженерной братией в соседнюю шашлычную, отводит душу в простых разговорах. Шашлычная вся из

стекла, внутри черные стены и на них — белые толстые веревки зигзагами. Художники постарались, навели красоту. Когда Хрущев боролся с абстракционизмом, веревки сняли, на стены набили полки и установили великое множество глиняных мисок. Глина — это уже пройденный этап, а веревка — пока еще модерн. В шашлычной разговоры немудреные. Про футбол, хоккей, женщин и телевизионные передачи. Сидят простые инженеры-механики, языки чешут. Такой вокруг прогресс науки и техники, что невозможно разобраться даже в популярном изложении, а наука и техника скачут и скачут вперед, и все путается, и вот мы уже заискиваем перед монтером, который приходит чинить наш телевизор. Наука так далеко ушла вперед, что все мы от нее отстали. Нечего даже пытаться догонять. Муж Манечки, Натан, давно уже не пытается. Дима Крикун, сын Манечки, остроумный молодой человек, бессменный капитан школьных острословов. «Приток Волги?» — «Ока». — «Вулкан в Мексике?» — «Попокатепетль». — «Как звали Рамзеса Третьего?» — «Рамзес Третий». — «Что такое культура?» — «Культура — это когда моют ноги». За удачные ответы получал Дима победные очки на турнирах и замечания директора после них. Директор школы — человек осторожный, боязливый. Сколько времени уже прошло, а он всё оглядывается, всё вздрагивает, забыть никак не может... Даже танцы просто так не устраивает. Сначала встреча с писателем, с передовиком, с другими интересными людьми, а уж потом только танцы. (Господи! Ну, когда же мы поумнеем? Когда перестанем вздрагивать, Господи?!) Уже в девятом классе Дима заявил на литературе, что не признает И. С. Тургенева, потому что Тургенев скучен, однообразен, и мало дает ему, Диме Крикуну, информации. Учитель литературы очень огорчился, прочитал лекцию о классиках, приводил примеры, наизусть зачитывал отрывки. «А почему это я должен их всех

любить? — запальчиво спросил Дима. — Тургенев тоже, наверно, не каждого признавал». И учитель вдруг позавидовал его категоричности. Что-то, видно, струнулось с места, потому что когда учитель сам был еще учеником, гениями считались те, кого нам рекомендовали в гении, и собственные суждения по этому поводу даже не возникали. Теперь Дима учится в университете. Читает много, размышляет, готовится стать психологом. Уже предъявлял претензии своим родителям, что неправильно воспитали, не научили в детском возрасте отличать хорошее от плохого, искусственное от естественного, настоящее от мнимого, дутое от великого, правду от лжи. А он должен теперь перестраиваться, переоценивать, переосмысливать понятия и принципы, искать, находить и вновь утверждать, тратить на это время, лучшие молодые годы, ценную психическую энергию. Как будто родители виноваты... А кто же тогда виноват? По утрам едет Дима в метро, на переходе бежит по эскалатору. Он бежит, а кто-то другой спокойно едет. Он прибежал, а поезд уже ушел, и тот, другой, снисходительно улыбаясь, неторопливо появляется на платформе. Вроде бы, глупо бежать, но Дима бежит еще и еще, чтобы, в конце концов, попасть на этот поезд, а не на следующий. Веня Вдовых, зять Лопатина Николая Васильевича, получил от завода огородный участок, поставил дом-курятник, приезжает в пятницу вечером, хватается за лопату, жадно вгрызается в землю. Вокруг сто домов, сто заборов, и все трудятся, вкалывают до седьмого пота без всяких обязательств. Ляля Лопатина приезжает на выходной, целый день лежит в шезлонге, дремлет. Уже ей за сорок, а всё такая же гладкая, пышная, без единой морщины, и всё так же мужчины пристают на улице. Раньше приставали молодые мужчины, теперь — пожилые. Уж хоть бы она этим делом занималась, что ли! А ее ничто не волнует.

Спокойная, равнодушная, все волнения мира ей до пуговицы. Дальше не пустит. Лопатин Николай Васильевич, заядлый садовник, живет на участке с апреля до первых морозов. Разводит цветы, ухаживает за яблонями, сидит по вечерам на скамейке, сложив руки на коленях и глядя на заходящее солнце. Вот стоят деревья, которые он посадил, вот плодоносит земля, которую он вскопал, вот раскинулись шесть соток его гордости и его умиления. В пожилые годы мы имеем право на гордость и умиление. Иначе зачем нам даны пожилые годы? Галя Вдовых, внучка Лопатина Николая Васильевича, одаренная девочка. Поет, рисует, пишет стихи — вся в бабу, в боярский интеллигентный род. Стесняется до слез от чужой неестественности, от притворства, вычурной манерности. Может подойти, сказать любому, даже незнакомому: «Перестаньте! Ну, перестаньте же притворяться...» Есть у Гали друг, тихий, незаметный мальчик, который однажды отчаянно подошел к ней на улице, поздоровался, храбро предложил: «Давайте сразу на «ты»...» — «Давай», — согласилась Галя и доверчиво взглянула огромными глазами-зрачками. В ее глаза нельзя долго смотреть, потому что видишь человека целиком, без внешних покровов, будто подглядываешь за ним в замочную скважину. Что он думает, что он хочет, что он есть — все видно. По субботам старшеклассники едут из Черемушек в центр, гуляют по улице Горького, отстаивают очереди в кафе „Молодежное“, сидят за стеклами, на виду у всей улицы, сосут из соломинок коктейли, танцуют. Галя со своим другом тоже едут в центр, бродят по пустынным переулкам, взявшись за руки, вышагивают километры, и он, тайком от нее, храбро сжимает в кармане большой охотничий нож. По воскресеньям уезжают за город,

сходят на любимой платформе. Платформа построена прямо в лесу, дорожка, протоптанная в траве, исчезает между деревьев и ведет неизвестно куда, и кажется, будто поезд остановился только для того, чтобы человек вышел из вагона и вошел в лес. Они гуляют долго, до самого вечера; отдыхают на поваленных деревьях, и красное солнце прямо на глазах опускается на просеку. Галя поет песни, читает стихи, а он слушает, уткнувшись подбородком в колени, неотрывно смотрит на нее. Встретятся взглядом, замрут, не моргая, надолго, разговаривают молча, без слов. Гляделки. Детская игра. Зимой берут лыжи и по целине пробираются к садовому домику ее отца. Топят печку, кипятят чай, всю ночь по очереди вскакивают с дивана, босиком бегут по застывшему полу, подбрасывают дрова, чтобы к утру не выстудило комнату. Все знают об их поездках — и дома, и в школе, — но никто не сказал о Гале ничего худого. Что бы она ни делала, всё хорошо, всё чисто. Проводили в школе анкету: «Что ты хочешь от жизни?» Она написала крупно, поперек страницы: «Я хочу многого!» И подчеркнула толстым карандашом. На выпускном вечере выступала первой, волновалась: «Говорят, что мы не знаем жизни. Это неверно. Мы не знаем ее плохих сторон. А кто сказал, что знать жизнь — это знать ее плохие стороны? Кто?!» Потом вставали учителя, прощались с учениками. «Вы лучше нас, — сказала молодая учительница, сама только что из института. — Какие вы естественные, независимые, раскрепощенные... Если бы вы знали, как мы вам завидуем!» Галя Вдовых изредка приезжает на старую квартиру, в комнату Лопатина Николая Васильевича. Комната заперта на замок, кабинет жены заперт отдельно, а в кабинете заперт еще и шкаф, будто никогда его не открывали, будто не хватали нервные пальцы небрежно исписанные листки. Галя снимает замки, открывает заветный шкаф, часами перебирает жел-

тые, ломкие страницы. Потом ходит по комнате, прижимается лицом к холодному зеркалу, плачет, будто прощается навсегда с любимым человеком. И не разглядеть в старом, потускнелом зеркале, кого оно отражает. А в квартире тихо, народу в квартире осталось мало. Одна, да одна, да двое, да еще двое, да еще — восемь человек. Свет в коридоре погашен, телефон звонит редко. Все пожилые, все с хворобами: помогают друг другу, по возможности облегчают старость. Из всех поколений, живших до нас на земле, мы самые суровые и самые безжалостные к себе люди. Когда умирают наши близкие, мы не оставляем себе никаких надежд на встречу с ними в другом мире. Мы не верим в Бога, мы верим в прогресс науки, в победу над болезнями, в продленную до последнего предела человеческую жизнь. Наши предки об этом не подозревали. Они не могли не умирать. Для наших потомков это будет обыденно. Им не дадут умереть. Мы всё знаем и мало что можем. Нам обиднее во сто крат, ведь мы не доживем до этого всего на несколько поколений. Мы жестоки сами к себе, и время жестоко к нам.

- Скорая?! Ну, где же вы?
- Фамилия?
- Вы уже спрашивали...
- Фамилия?
- Хоботков.
- Имя, отчество?
- Константин Сергеевич.
- Возраст?
- Тридцать шесть лет.
- Всё правильно. Ждите машину.

Мы идем по длинному конечному коридору между двумя рядами высоких стен, и никто не попадается на нашем пути. Лишь иногда в стенах встречаются окна, в которые к нам заглядывают родные и близкие, слу-

чайные люди и доверенные лица. Одни из них перебегают от окошка к окошку и сопровождают нас до конца нашего коридора, другие стоят у своего окна и смотрят нам вслед, а третьи, как прохожие на улице, мимоходом бросают в окно нелюбопытный взгляд. Чем общительнее человек, тем больше у него окошек, но даже самые общительные не идут по коридору с прозрачными стенами. «Как жизнь?» — спрашивают они нас, заглядывая в окна. «Как жизнь?» — спрашиваем мы их на ходу. И не задумываясь, отвечаем: «Ничего. Нормально. Порядок». Стандартный вопрос, стандартный ответ. А как она, на самом деле, жизнь? И жизнь ли она? И полна ли она? И нужна ли она? Может, потому и спрашиваем друг друга, что бессознательно ищем подтверждения ее существования. «Как жизнь? Ну, как она, жизнь?!»

Бежит по улице человек.

Прибегает человек домой и ныряет с головой под одеяло. Переводит дух и спокойно, не торопясь, начинает укладываться. Подтыкает одеяло под бок, чтобы не дуло. Приподнимает ноги и прижимает ими край одеяла. Пристраивает поудобнее тело. Обследует ногой прохладные закоулки и укромные уголки. Зарывается головой в подушку. Покряхтывает от избытка чувств. Высовывает наружу кончик носа, чтобы не задохнуться. Закрывает глаза и блаженно улыбается.

Под одеялом он всемогущ. Владыка мира. Царь вселенной. Вольный сын эфира. Что угодно!

Не хочет быть владыкой — не надо. Может расправиться с обидчиком. Разгромить врага. Обидеть кого угодно. Произнести речь. Поклониться под градом аплодисментов. Пожелать, чтобы его качали. И его будут качать до самого утра.

Всё, чего он не может добиться в жизни, ему шутя удается под одеялом.

Но он не нахал, не рвач. Он не злоупотребляет

положением. И мечты должны иметь пределы.

Самое главное, под одеялом он в безопасности. Он чувствует себя увереннее, надежнее, спокойнее. Как жалко, что утром одеяло надо откидывать и опускать голые ноги в застывшие тапочки. Как жалко, что одеяло нельзя взять с собой на работу. Как жалко, что без одеяла человек теряет эти прекрасные свойства.

Одеяло — это броня, одеяло — это крепость, одеяло — это ДОТ (долговременная огневая точка).

Лучше всего — ватное одеяло.

Жизнь хороша своей определенностью.

Перемены нужны нам в молодости.

Кто бегаёт и суетится, тот не нашел себя.

Кто успокоился, тот нашел.

Жизнь — это борьба!

Но борьба — это не жизнь!

В каждом алфавите есть своя буква «А».

В каждой голове есть своя академия.

Пиджаки бывают однобортные и двубортные. Трехбортные пиджаки не бывают.

Почему?

Потому.

А поподробнее?

Потому что.

Жизнь у меня неплохая. Неплохая у меня жизнь. Не так хорошо, как бы хотелось, и не так плохо, как кажется.

Куда поставят — там стою.

Куда пошлют — туда иду.

Куда не надо — туда не лезу.

Куда надо — туда тоже не лезу, потому что «куда надо» с завтрашнего дня может стать «куда не надо».

Наше дело маленькое: круглое — катать, плоское — тащить.

Есть два — хотим четыре.
Есть четыре — хотим восемь.
Есть восемь — хотим миллион.
Это и называется прогресс!

От великого до смешного только один шаг. Нужно сделать полшага и замереть на месте.

Вы, конечно, присоединяетесь?

Конечно. Я присоединяюсь к мнению предыдущего оракула.

День прошел — и ладно.

Ладно?

Бузотеры, бунтари, ниспровергатели — они тихо сходят в могилы под благополучнейшие некрологи, а то и без них. Бузотеры — сгнули в тридцать седьмом. Бунтари — утихли в сорок девятом. Ниспровергатели — превратились в образцовых редакторов. Их успокоил страх. Их уравнила боязнь. Их обстригло время. И тихо они уходят. Мышами в подпол.

А мы-то, мы... В наши молодые тридцать шесть! Не постаравшись даже. Не попытавшись. Не шлохнувшись хоть для видимости. Мы не тщеславны. Мы не любопытны. Больше того, мы рассудочны.

— Дорогой, — утешаем друг друга, — а что делать? Время нынче такое. Надо переждать.

Вот мы и ждем. Но время не переждешь. Оно не по нашим срокам. Нам отмерено, ему — нет. И вот нам уже по пояс, по горло, по уши, а время идет себе да идет. Оно не торопится. У него в запасе — вечность. И вот нам уже по макушку, и вот о нас говорят:

— Чуть-чуть не дотянул... Бедняга!

У меня, как и у всех в общем зале, стол с тумбой, желтый стул на круглых ножках с лаковыми подтеками, которые так приятно отколупывать, когда не-

чего делать, карандаши «Пионер» № 2, цена 1 копейка, блокноты серой бумаги в линейку, фирма «Восход», цена 10 копеек, «Изготовлено из отходов», и общий для всего зала телефон: «Частные разговоры в служебное время не разрешаются». Но зато каждый год в конце декабря мне выдают новый, перехваченный цветной бандеролькой настольный календарь. Как знак отличия. Как один из тех мелких знаков, которые отличают простого человека от человека со значением. А я человек со значением. С небольшим значением. И поэтому мне выдают обычный, в черную краску, настольный календарь. А есть еще календари разноцветные, с водяными знаками, с золотым тиснением, и очевидно, еще какие-то, о которых мы и не подозреваем. И бандерольки на них, наверно, особенные. И стоят они на столах рядом со стаканчиками, а в стаканчиках карандаши: толстые, разноцветные, аккуратно заточенные: так и подмывает взять в руки и наложить резолюцию. И стол под сукном. И кресло с подлокотниками. И блокнот плотной глянцевой бумаги под толстым переплетом. И выстроенные в ряд, нацеленные в потолок ракеты-авторучки на мраморном постаменте. И конечно же, телефоны. Обычные черные. Разноцветные. Телефонные агрегаты с кнопками, клавишами, мигающими сигналами. Как много у нас, у штатских, знаков отличия... Не то, что у военных: две звездочки — лейтенант, четыре — капитан, папаха — полковник. Как будто мы, штатские, боимся, что не распознают, не разглядят, не поймут нашу роль и наше значение... Нашу роль! Наше значение!

Вот я уже на вершине, но я не ощутил подъема.

Вот я уже достиг потолка, но я не оторвался от пола.

Вот я уже в расцвете сил, но как их измерить?

Вот я уже счастливый, но с чем сравнить мое

счастье?

Вот я уже всё видел, но много ли попадалось мне на глаза?

Вот у меня уже опыт, но я его не ощущаю.

Вот я уже всё знаю, но я не знаю ничего.

Вот у меня уже дети, но я сам еще ребенок.

Вот у меня уже есть всё, но у меня нет ничего.

Вот я уже умер, но я еще не жил.

— Скорая... Скорая!

— Фамилия?

— Хоботков!

— Имя, отчество?

— Константин Сергеевич!

— Возраст?

— Тридцать шесть лет!

— Все сходится. Ждите машину.

Простите нас, наши родители! Мы уходим раньше вас, и это высшая наша неблагодарность. Простите нас!

Простите нас, наши дети! Мы уходим от вас второпях, не сказав самого главного, будто трусливо убегаем от основного вопроса. Простите нас!

Простите нас, наши учителя! Вы были искренни с нами, но жизнь оказалась еще искреннее. Простите нас!

Простите нас, наши ученики! Если бы мы страстно и убежденно научили вас ошибочному, в этом был бы хоть какой-то смысл. Но где взять убежденность? Простите нас!

Простите нас, наши враги! Мы вяло и неумело боролись с вами, и не дали вам ощутить взхлеб ни радости победы, ни горечи поражения. Простите нас!

Простите нас, наши друзья! Вы остаетесь после

нас, и на ваши плечи переключаются все наши сомнения. Простите нас!

Простите нас, все остальные! Вас так много, что наш уход остается незамеченным. Нас так много, что вы не можете на всех обращать внимание. Простите нас! Прощаем вас!

«Скорая помощь» пронзительно взывает, словно рывком сдергивает с тебя кожу.

«Скорая помощь» с воем идет по нескончаемому Садовому кольцу, по осевой полосе, на красный, на желтый, на зеленый свет, а человек лежит на спине, человек глядит вверх, в окошко на потолке, а наверху проносятся провода, провода, переплетения проводов, паутина, перечеркивающая небо. А жить хочется — хочется, хочется, хочется, — а жить очень хочется, а жить хочется так, что не подобрать к этому никакого сравнения. И если одни всю свою жизнь ждут смерти, то другие всю свою жизнь ждут жизни.

Ждут...

Ждут...

Ждут...

Ждут жизни.

Без четверти девять, распугав ребятишек, во двор въехала похоронная машина. Шофер, здоровенный мужик в мятом, рыжем пальто с оттопыренными, надорванными карманами, остался сидеть за рулем, уложив руки на баранке, а грузчик, мелкий, щуплый, в бесцветном от старости ватнике с вылезавшей местами серой ватой, в стоптанных сапогах, в кепке до бровей, поднялся по лестнице на нужный этаж, сверился по бумажке, позвонил. Ему открыли и сразу же засуетились, заволновались, заплакали, стали прощаться. Грузчик ждал на лестничной площадке, курил, потом сплюнул папиросу, растер сапогом по плитке пола, пошел вниз. Минут через десять они поднялись

вдвоем, неся гроб. Шофер шел сзади, неодобрительно поглядывал на узкие лестничные переходы и короткие площадки, а поднявшись, встал в распахнутых настежь дверях, уткнулся головой в притолоку, спокойно глядел на привычную ему суету и слезы, на судорожные попытки задержать последние минуты прощания.

— У нас на сегодня три рейса, — громко сказал шофер, и родственники отступили перед запланированной неотвратимостью.

Они спускались медленно, боясь оступиться, — впереди шофер, позади грузчик, — обтирали спинами беленые стены, с трудом разворачивались на площадках, сипло и натужно дышали, а родственники растерянно вертелись рядом, мешали. У подъезда ждала толпа: старушки со скорбными лицами часто крестились, возбужденные ребяташки перебегали с места на место, чтобы всё увидеть, чтобы не пропустить самое интересное. Шофер залез в машину, принял гроб, закрепил ремнями, тяжело спрыгнул на землю. Они стояли вдвоем с грузчиком, курили, сплевывали, равнодушно оглядывали двор, дом, толпу, суетившихся у подъезда родственников.

— Документы взяли? — спросил шофер.

— Взяли...

Они медленно, чтобы не задеть ребяташек, развернулись около бака с мусором, выехали со двора, проехали чуть-чуть, встали. Грузчик выскочил из машины, шустро убежал за угол. Минут пять все сидели тихо, ждали, недоуменно переглядывались. Кто-то сморкался, кто-то задавленно всхлипывал. Потом грузчик выскочил из-за угла, побежал к машине. В руке батон, в кармане брюк — бутылка.

— Пообедать некогда, — угрюмо сказал шофер, и они поехали дальше.

Они ехали без остановок до самого кладбища. Грузчик жевал отломанную горбушку, шофер мрачно глядел вперед, родственники тихо переговаривались.

Перед воротами кладбища шофер развернулся, затормозил, пошел открывать заднюю дверь. Родственники неумело подхватили гроб и, мешая друг другу, толкаясь, наступая на пятки, понесли в ворота. Один из них вытащил деньги, сунул шоферу в руку.

— Мало, — обиженно сказал тот, вертя бумажку между пальцами.

Родственник смутился, дал еще.

— Спасибочки!.. — неожиданно весело выкрикнул грузчик, и машина ушла обратно в город.

На сегодня у них осталось еще два рейса.

Стали ему копать могилу, а там кого только нет. Лежит в земле брат Лёка, девятнадцати лет; лежит няня, старая, морщинистая, ломаный мизинец буквой «Г»; лежит сын ее Николка — ни живой, ни мертвый, пропавший без вести на Смоленском направлении; лежит бабушка Циля Абрамовна со своим молитвенником; лежит сын ее Гриша, ласковый, почтительный; лежат дети его — двойняшки; лежат Кукины, муж и жена, арестованные в тридцать восьмом проклятом году; лежит Хаймертдинов с амбарной книгой, в которой подсчитаны все расходы за его грошовую, экономную жизнь; лежит жена Лопатина Николая Васильевича, боярских кровей; лежит добрый доктор Шапошников; лежат заключенные; лежат солдаты; лежат руки и ноги, отрезанные по госпиталям; лежат герои, успевшие стать героями; лежат герои, не успевшие ими стать; лежат невысказанные мысли, несбывшиеся надежды, неиспользованные возможности, нетронутые эмоции; лежат те, кто кормил тебя, поил, мыл, учил, утешал в трудную минуту: беспokoился. Ты забыл о них, но они живут в тебе частичей своей, и набор этих частиц составляет тебя. А потом и ты уходишь, и твоя частица остается в следующих. Это и есть — мы. Мы все. И ничто другое. Ты, предыдущий, передаешь свое беспокойство после-

дующему. Ты кредитуешь его в бессознательной надежде, что и он передаст по цепочке дальше. А если кто-то не передает, рвется одна маленькая жилка в канате, на котором висим мы. Мы все. И не спасут тебя ни дела, ни служебные заслуги, которые тоже имеют значение, но значение второстепенное, а спасет одно лишь неуловимое состояние радостного беспокойства, передаваемое дальше. Пока бьет в тебе родничок, ты бессмертен. Заглох, затянуло песком, нет его — начинай потихоньку готовиться к смерти. Загодя, за́долго, неминуемо... Еще впереди долгие годы, еще впереди — жизнь, но процесс уже начался, процесс уже идет.

Рабочие опустили гроб в могилу, выдернули веревки, отошли в сторону. Родственники бросили по комочку земли, постояли, посмотрели, как вырастает холмик, как приглаживают его лопатами, прикрывают венками, и медленно, словно нехотя, пошли к воротам. Мимо могил, по боковой дорожке, по главной аллее, быстрее, быстрее, быстрее, совсем быстро. Он пошел было за ними, но сразу отстал и остановился в воротах кладбища — дальше ворот нельзя, теперь ему место здесь, только здесь, — смотрел, как они бегут к автобусу, кричат водителю, чтобы подождал, прыгают на ходу...

Сто сорок четыре ступеньки: через две — через две — через три; бегом к остановке: автобус отходит — отходит — отходит; лестница вниз — подземный переход — переход — переход — лестница вверх; горохом по эскалатору — броском в вагон — из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами — а насосы сосут и сосут — а колонны бегут и бегут — шаг в шаг — вдох-выдох — вдох-выдох

— ВЫДОХ — ВЫДОХ — ВЫДОХ — ВЫДОХ — ВЫДОХ — ВЫ-
ДОХ — ВДОХ!..

- Ты готов?
- Я готов.
- Побежали...

Москва.
1967—1969 гг.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Феликс КАНДЕЛЬ

„ЗОНА ОТДЫХА” — 1979 г.

„ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО” — 1980 г.

„КОРИДОР” — 1981 г.

Книги можно заказать по почте:

P.O.B. 6206, Jerusalem 91061 Israel

